

ДЭНИЕЛ МЕЙСОН Зимний солдат

роман

Я давний поклонник Дэниела Мейсона.
Его талант рассказчика и стилиста
не оставляет нам выбора — хочется, чтобы
он писал еще и еще. “Зимний солдат” —
это шедевр. — АБРАХАМ ВЕРГЕЗЕ



Дэниэл Мэйсон
Зимний солдат

«Фантом Пресс»

2018

УДК 821.111
ББК 84(7Coe)

Мэйсон Д.

Зимний солдат / Д. Мэйсон — «Фантом Пресс», 2018

ISBN 978-5-86471-906-0

Вена, начало XX века. Люциуш Кшелевский — юноша из аристократической польской семьи. В отличие от братьев, выбравших традиционные для шляхты занятия, он решает стать врачом — однако в разгар его обучения в Европе вспыхивает мировая война. Зачарованный романтическими рассказами о военной хирургии, он записывается в армию, ожидая, что его направят в хорошо организованный полевой госпиталь. Но когда Люциуш прибывает на место службы в Карпатских горах, он обнаруживает, что это не огромный госпиталь, а импровизированная больница, размещенная в старой деревянной церкви, да еще разоренная эпидемией тифа. Выживший медперсонал разбежался, осталась лишь сестра-монахиня, которую окружает странная таинственность. Люциуш оказывается единственным врачом на много верст вокруг, хирургом, хотя он никогда еще никого не оперировал. То, что случится в месте его службы, навсегда изменит жизнь Люциуша и всех близких ему людей. “Зимний солдат” — история войны и медицины, роман о поиске любви в бурных волнах европейской истории, об ошибках, которые совершает каждый, и о драгоценном шансе их искупления.

УДК 821.111

ББК 84(7Coe)

ISBN 978-5-86471-906-0

© Мэйсон Д., 2018
© Фантом Пресс, 2018

Содержание

1	7
6	8
2	20
6	29
3	34
4	43
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Дэниел Мейсон

Зимний солдат

Роман

Посвящается Саре

*У некоторых привязанностей несчастливая судьба.
Андре Лери, *Commotions et émotions de guerre*, 1918*

Daniel Mason
The Winter Soldier

* * *

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Copyright © 2018 by Daniel Mason
© Александра Борисенко, Виктор Сонькин, перевод, 2022
© Андрей Бондаренко, оформление, 2022
© «Фантом Пресс», издание, 2022

1

*Северная Венгрия,
февраль 1915 года*

Они пять часов ехали на восток от Дебрецена, когда поезд вдруг остановился на полустанке среди пустынной равнины.

Не было никакого объявления, не было даже свистка. Если бы не занесенная снегом табличка, он и не узнал бы, что прибыл в место назначения. Он заторопился, боясь, что поезд тронется, схватил ранец, шинель, саблю, стал проталкиваться через толпу, сгрудившуюся в проходе. Здесь никто больше не выходил. Через несколько вагонов от него проводники выгружали на снег какие-то ящики и растирали замерзшие ладони, прежде чем торопливо запрыгнуть обратно в поезд. Потом вагоны тронулись, позвякивая цепями; ветер приподнял полы его шинели и закрутил снежный вихрь вокруг колен.

Гусара он нашел в станционном здании, куда тот завел лошадей с холода. Они прядали ушами, задевая низкий потолок, их длинные морды тянулись к скамье, где сидели три старые крестьянки, сложив руки на закутанных животах, словно толстые мужички после сытной трапезы. Ноги у них слегка не доставали до пола. Женщина, лошадь, женщина, лошадь, женщина. Гусар стоял молча. Дома, в Вене, Люциуш видел гусарские полки на параде, с перьями и цветными кушаками, но этот человек был одет в толстую серую шинель и потертую меховую шапку с проплешинами. Он жестом поманил Люциуша и вручил ему поводья одной из лошадей, прежде чем вывести другую наружу; хвост лошади задел сидящих женщин, когда гусар проходил под габсбургским двуглавым орлом над двойными дверями.

Люциуш потянул за поводья, но лошадь заупрямилась. Он погладил ее шею сломанной рукой, а здоровой продолжал тянуть. «Ну, пошла», – шептал он сначала на немецком, потом на польском, пока ее задние копыта не оторвались наконец от обледепевшего пола с намерзшим на нем навозом. Гусару, стоявшему у дверей, он сказал:

– Долго же вы ждали.

Больше они не разговаривали. Гусар опустил на лицо кожаную маску с прорезями для глаз и ноздрей и взобрался на лошадь. Люциуш последовал его примеру, закинув ранец за плечи и пытаясь поплотнее обмотать лицо шарфом. Из станционного здания за ними наблюдали три старые женщины, пока гусар не развернулся на лошади и не захлопнул дверь. Вы не дожидаетесь своих сыновей, хотел сказать им Люциуш. Во всяком случае, живыми и здоровыми. Едва ли остался хоть один мужчина, способный передвигаться, который не пытался бы сейчас прорвать русскую осаду Перемышльской крепости.

Не говоря ни слова, гусар повернул на север и пустился рысью – длинная винтовка перекинута поперек седла, сабля на поясе. Люциуш оглянулся, но поезд уже исчез. Снежные хлопья заносили пути.

Он следовал за гусаром. Копыта цокали по замерзшей земле. Небо было серым, и перед собой он видел горы, вздымающиеся навстречу бурану. Где-то там, впереди, ждали Лемновцы, полковой госпиталь Третьей армии, где ему предстояло проходить службу.

6

Ему исполнилось двадцать два года, он не находил себе места, не доверял иерархии, не мог дожидаться конца учебы. Три года он провел в библиотечном уединении, с монашеской непреклонностью посвящая себя медицине. Учебники его щетинились полосками папиросной бумаги, которые он облизывал и приклеивал на полях. В больших залах, на светящихся диапозитивах, он рассматривал разрушительное воздействие тифа, скарлатины, волчанки, чумы. Он запоминал признаки кокаинизма и истерии, знал, что запах миндаля сопровождает отравление цианидом, что аортальный стеноз можно диагностировать, приложив стетоскоп к шее и услышав характерный шум. В галстук и свежeweглаженном белом халате он проводил часы, всматриваясь вниз с головокружительной высоты анатомического театра, вытягивая шею, чтобы пробиться взглядом сквозь беспокойные стайки однокашников, поверх аккуратных стрижек старших студентов, поверх голов практикантов и ассистентов, за хирургическую простыню, туда, где зиял разрез. К моменту объявления войны анатомический театр снился ему ежедневно: длинные, утомительные сновидения, в которых он извлекал невообразимые органы, наполовину человеческие, наполовину свиные (он практиковался на отходах из мясной лавки). Однажды, когда ему снилось удаление желчного пузыря, он с поразительной отчетливостью ощутил влажную, свинцовую тяжесть печени и проснулся в полной уверенности, что смог бы провести операцию сам.

Служение Люциуша было самозабвенным, однако истоки его оставались загадкой. В детстве он с увлечением разглядывал восковых кадавров в анатомическом музее, но с не меньшим увлечением их разглядывали и его братья, и ни один из них не обратился к искусству Гиппократa. В роду у Люциуша не было врачей – ни среди Кшелевских из Южной Польши, ни тем более среди предков его матери. Иногда, во время ее невыносимых светских приемов, какая-нибудь глупая гусыня загоняла его в угол и принималась разглагольствовать о том, что медицина благородное призвание и однажды он будет вознагражден за свою доброту. Но доброта его не интересовала. Самый честный ответ на вопрос, что заставляет его проводить бесконечные часы за учебой, был таким: радость познания. Он не был склонен к религиозности, но именно религия подсказывала ему слова: откровение, таинство, чудо Господнего творения, а значит, и чудо несовершенства этих творений.

Радость познания – такой ответ он давал в минуты высочайшего восторга. Но у его выбора была и другая причина, о которой он задумался позже, в часы сомнений. У него было два однокурника, которых он мог бы назвать друзьями, – Фейерман был сыном портного, Каминский, носивший очки с простыми стеклами, чтобы выглядеть старше, учился на стипендию сестер милосердия. Они никогда не говорили об этом, но Люциуш знал, что его товарищи пришли в медицину для того, чтобы подняться по общественной лестнице. Для Фейермана и Каминского медицина означала путь вверх: из трущоб Леопольдштадта, из благотворительной школы для бедных. У Люциуша же отец принадлежал к старинному польскому семейству, происходившему от Иафета, сына Ноя (да, того самого), а в жилах матери текла небесно-голубая кровь Великого освободителя Вены, Спасителя западной цивилизации Яна Собеского – короля польского, великого князя литовского, русского, прусского, мазовецкого, жемайтского, ливонского, смоленского, киевского, волынского и так далее и так далее, – и для Люциуша эта лестница вела не вверх, а прочь.

Нет, с самого начала он был чужим среди них, случайный шестой ребенок, родившийся через годы после того, как врач сообщил матери, что она не сможет больше забеременеть. Если бы он не был точной копией отца – высокий, с большими руками, с алебастрово-бледной кожей, с белокурой шевелюрой исландца, со стариковскими растрепанными бровями, даже в детстве, – он мог бы думать, что рожден от кого-то другого. Но если на лице его отца румянец

сиял, точно у рыцаря, только что снявшего шлем после поединка, то на лице Люциуша он горел пятнами, придавая ему смущенный вид. Глядя, как его братья и сестры непринужденно скользят по залу на приемах матери, он удивлялся их легкости, грации, уверенности. Как бы он ни старался – держал в кармане камушек как напоминание, что необходимо улыбаться, писал списки «темы для светской беседы», – непринужденность ему не давалась. Перед приходом гостей он проскальзывал в зал и закреплял за каждым произведением искусства какую-то тему. Портрет Собеского: завести разговор о путешествиях; бюст Шопена: спросить что-нибудь у гостя. Но как бы он ни готовился, это непременно случалось – наступал момент... пауза... всего лишь секунда, всего лишь запинка, прежде чем он мог заговорить. Он уверенно двигался, подчиняясь причудливой хореографии мягких платьев и отутюженных маршальских брюк. Но когда он подходил к группке других детей, их смех замолкал.

Он думал иногда, что если бы ему довелось расти в другое время и в другом месте – среди других, молчаливых людей, – его неловкость оставалась бы незамеченной. Но в Вене, где острословие правит бал, где легкомыслие возведено в символ веры, его недостаток был у всех на виду. Люциуш – само имя, выбранное отцом в честь сиятельных римских царей, звучало насмешкой: чего он не умел, так это блистать. К тринадцати годам он так страшился неодобрения матери, так часто не мог найти нужных слов, что от напряжения у него начинала дрожать губа, он нервно сплетал пальцы и в конце концов стал заикаться.

Вначале его обвинили в симуляции. Заикание проявляется в раннем детстве, сказала мать, а ты уже подросток. Он не заикался, когда был один, когда рассказывал о своих научных журналах или о птичьем гнезде за окном. Заикание не беспокоило его при посещении Императорской зоологической коллекции, где он часами разглядывал аквариум с *Grottenolm* – протеями, слепыми, прозрачными саламандрами с юга Империи, сквозь кожу которых видна была заворачивающаяся пульсация крови.

Но в конце концов, допустив, что с ним что-то и вправду не так, мать наняла специалиста из Мюнхена, автора известного учебника по нарушениям речи и изобретателя металлического прибора под названием цунгенаппарат, который отделял друг от друга произношение лабиальных, палатальных и глоттальных звуков и таким образом должен был избавлять от дефектов дикции.

Доктор прибыл теплым летним утром. Похмыкивая и покусывая заусенец, он осмотрел ребенка, прощупал шею, заглянул в уши. Произвел измерения, кислые пальцы ощупали десны Люциуша; мать заскучала и ушла. Наконец на свет был извлечен аппарат, и мальчику велели спеть песенку «Веселый странник по весне».

Он попытался. Губы попали в зажим, зубцы вонзились в язык, он сплюнул кровью. «Громче! – закричал доктор. – Работает!»

Вернувшаяся мать увидела, как сын лает по-собачьи, а на губах у него пузырится кровавая пена. Люциуш переводил взгляд с одного на другого: мать – доктор – мать – доктор; мать все росла и розовела, а доктор скукоживался и бледнел. *Ох, ты не представляешь, что тебе сейчас будет*, подумал мальчик, глядя на мужчину. И стал хихикать – непростая задача, когда у тебя во рту цунгенаппарат, – а доктор быстренько собрал свои инструменты и был таков.

Второй врач безуспешно пытался его гипнотизировать и прописал селедку для увлажнения полости рта. Третий, пощупав его яички, объявил, что они в норме, но когда в них не обнаружилось никакого движения после просмотра сладострастной гимнастики в иллюстрированном издании «Сокровенные тайны монастыря», достал блокнот и записал «недостаточное развитие железы». Затем он зашептал что-то на ухо матери.

Через неделю отец привел его в заведение, специализирующееся на девственницах и весьма респектабельное, что подтверждалось сертификатом об отсутствии сифилиса. Люциуша заперли в роскошном номере в стиле Людовика II с деревенской девчонкой из Хорватии, которая была разряжена как певица оперы-буфф. Поскольку она приехала с юга, он спросил,

слышала ли она о протях. Да, сказала она, и ее испуганное лицо оживилось. Ее отец когда-то собирал маленьких саламандр, чтобы продавать аквариумам Империи. Они подивились этому совпадению в их жизни: как раз на этой неделе одна из любимых саламандр Люциуша в Зоологической коллекции стала метать икру.

После отец спросил: «Ну что, ты сделал это?» – и Люциуш ответил: «Да, папа». А отец: «Я тебе не верю. Что именно ты сделал?» И Люциуш ему: «Я сделал то, зачем пришел». Отец: «А именно?» Люциуш: «То, чему я научился». Отец: «И чему же ты научился, сын?» И Люциуш, вспомнив роман, который читала его сестра, ответил: «Я сделал это с неистовым пылом».

– Вот это мой сын! – сказал отец.

В молчании Люциуш терпел светские приемы, пока ему не разрешили удалиться. Он бы совсем на них не ходил, но мать сказала, что не хочет прослыть второй Валентиной Розоровской, которая прятала свою дочь-калеку в ящике. Так что Люциуш был вынужден сопровождать ее в обходе гостей. Она очень гордилась своей тонкой талией, и он думал иногда, что она таскает его за собой специально ради удовольствия услышать от очередной дамы: «Агнешка, после шестерых детей – такая фигура! Как это возможно?»

Китовый ус! Вот что хотелось проорать Люциушу. Эти беседы приводили его в ужас. Замечания о его рождении были так вульгарны, как если бы гости напрямую хвалили материнские гениталии. Он чувствовал облегчение, когда они переходили на обсуждение музыки и архитектуры. Еще особым вниманием пользовались жены промышленных магнатов – всех интересовало, куда именно ездят их мужья. Только став старше, он осознал умышленную безжалостность этих расспросов.

Король всегда на охоте, королева всегда беременна, так шутили о его семье, перефразируя Гете. Но про себя он думал: наша королева успевает и то и другое. Его отец был сладкожкой и майором уланского полка; во время битвы при Кустоце итальянцы прострелили ему бедро, и он надеялся провести остаток жизни в покое и довольстве: бить баклуши в своем краковском гарнизоне, попивая сливовицу и виртуозно пугая детей театром теней. В первые десять лет брака, страшась разрушить идиллию, герой войны старался скрыть от супруги спящие фамильные шахты. *Железо? В этой дыре? Там один мышинный помет. Медь? Брось, дорогая, просто глупые слухи. Кто тебе сказал, что там есть цинк?!*

Он слишком хорошо знал жену. Как только она дотянулась до бухгалтерских книг, по всей Южной Польше прошла дрожь. За три года шахты Кшелевских преодолели путь от поставки пуговиц для военных мундиров и меди для армейских труб до стали и железа для новых железных дорог в Закопане. Вскоре она перевезла семью в Вену, чтобы держать руку на пульсе Империи. Мы в своем праве, любила повторять она. Вена в долгу перед нашим родом – в конце концов, Собоеские освободили Австрию от турок.

Разумеется, это говорилось при закрытых дверях. В публичной жизни она неизменно окружала себя атрибутами Империи. На каминных полках вскоре выстроился юбилейный фарфор, выпущенный в честь Франца Иосифа. Мать заказала свой портрет Климту. Вначале она была изображена на нем вместе с Люциушем, но потом ее так очаровал золотой узор на портрете Адели Блох-Бауэр, что Люциуша пришлось закрасить. Их династия ирландских волкодавов – Пушек I (1873–81), Пушек II (1880–87), Пушек III (1886–96), Пушек IV (1895–1902) и т. д. – происходила не от кого иного, как от верного Шэдоу императрицы Сисси.

Все ее дети, кроме старшего, родились в Вене. Владислав, Казимир и Болеслав, Сильвия и Регелинда – имена как на подбор, будто перечень польских святых. Когда ему минуло десять, все они уже покинули родительский кров. Позже Люциуш узнал, что у братьев и сестер были глубокие разногласия, но большую часть детства они казались ему неделимым единством. Братья умели пить, сестры отлично музицировали. Мужчины, которые гостили в их польских и венгерских имениях и отправлялись на рассвете охотиться с его отцом, все очень много пили.

Поэтому он совсем не удивился, когда, объявив матери о своем желании быть врачом, услышал от нее, что это карьера для нищих выскочек.

Он сказал, что многие сыновья аристократов становились врачами. И угадал ответ прежде, чем он слетел с ее тонких поджатых губ:

– Да. Но ты станешь совсем не таким врачом, как они.

В конце концов она уступила. Она лучше других знала его недостатки. Вначале он был одинок. Немецкая медицинская ассоциация студентов встретила его холодно, и он обнаружил, что Фейерман и Каминский так же одиноки и так же пытаются скрыть неловкость, пока другие студенты непринужденно смеются между собой.

С первого дня Люциуш с головой погрузился в учебу. В отличие от двух своих товарищей, которые закончили *Realschule*, ориентированную на практические навыки, и поэтому владели начатками основных наук, он воспитывался с гувернантками и изучал в основном латынь и греческий. Своим приятелям он объявил, что его знания зоологии и ботаники остановились на Плинии. Когда они расхохотались в ответ, он был изумлен: это не было шуткой. После этого он притворялся, что никогда не слышал о Дарвине, и говорил, что «не очень-то верит в земное притяжение». Но с удовольствием посещал «вспомогательные курсы»: была какая-то магия в том, чтоб хором декламировать классификацию Линнея, в сверкающих трубках Крукса, которые приносили для физических экспериментов, в малой алхимии, пузырившейся в колбах Эрленмейера.

И если это была любовь – да, это слово подходило как нельзя лучше: головокружение, ревность к соперникам, погоня за все более интимными секретами, – если его чувство к Медицине было любовью, то чего он вовсе не ожидал от Нее, так это взаимности. Вначале он заметил вот что: когда он говорил о Ней, заикание пропадало. До конца второго года у них не было экзаменов, и поэтому только в третьем семестре, холодным декабрьским днем, явился намек на то, что он обладает, как написали в его годовой аттестации, «необычайной способностью воспринимать то, что находится под кожей».

В тот день им читал лекцию Гриперкандль, великий анатом, из тех почтенных профессоров, которые считают, что все новомодные веяния в медицине (такие, как мытье рук) придуманы для слабаков. Студенты сидели на его лекциях, скованные ужасом, поскольку каждую неделю Гриперкандль проверял практические навыки: вызывал студента, записывал его имя в блокнот (всегда *его* имя; среди студентов было семь девушек, но с ними он обращался как с медсестрами), и начиналась инквизиция. Он задавал такие изощренные клинические загадки, которые не отгадали бы и большинство профессоров.

Люциуша вызвали во время лекции, посвященной анатомии кисти руки. Гриперкандль спросил, готовился ли Люциуш к занятию, – он готовился; и знает ли он названия костей, – он знал; и не будет ли он любезен их перечислить. Старый профессор стоял так близко, что Люциуш ощущал запах нафталина, идущий от его халата. Гриперкандль погромел чем-то в кармане. Там были кости. Не будет ли Люциуш любезен вытянуть кость и назвать ее? Люциуш колебался, по рядам прошел нервный смех. Он осторожно сунул руку в карман профессора, нащупал самую длинную и тонкую кость. Когда он попытался ее вытащить, профессор схватил его за запястье. «Любой дурак может посмотреть», – сказал он. И Люциуш, закрыв глаза, сказал *scaphoid* и вытащил ее. «Еще!» И Люциуш сказал *capitate* и вытащил ее. А Гриперкандль сказал: «Эти две самые большие, их легко узнать», и Люциуш сказал *lunate*, а Гриперкандль сказал: «Еще!» И Люциуш сказал *hamate, triquetrum, metacarpal*, вытаскивая каждую кость по очереди, и осталась только одна короткая косточка, странная, слишком массивная, чтобы быть фалангой пальца руки, пусть даже большого.

– Это палец ноги, – сказал Люциуш, чувствуя, что вся рубашка промокла от пота. – Мизинец ноги.

Аудитория замерла.

И Гриперкандль, не в силах удержаться от широкой желтозубой улыбки (потом он говорил, что двадцать семь лет ждал случая для этой шутки), произнес:

– Очень хорошо, сынок. Но чья это нога?

Необычайная способность воспринимать то, что находится под кожей. Он переписал эти слова в свой дневник, на польском, на немецком, на латыни, как будто нашел себе подходящую эпитафию. Это была бодрящая мысль для мальчика, которого всю жизнь озадачивали простейшие действия других людей. Что, если мать во всем ошибается? Что, если все это время он просто видел глубже? Когда в конце второго года состоялись первые испытания – ригорозум, – он оказался первым на своем курсе по всем предметам, кроме физики, тут Фейерман его обогнал. В это было невозможно поверить. Занимаясь с гувернанткой, он чуть не бросил греческий, совершенно не интересовался причинами войны за австрийское наследство, путал кайзера Фридриха Вильгельма с кайзером Вильгельмом и кайзером Фридрихом и считал, что философия сама создает проблемы там, где никаких проблем сроду не было.

Он начинал свой пятый семестр с радостным нетерпением. Он записался на патологию, бактериологию, клиническую диагностику, а летом должны были начаться первые лекции по хирургии. Но надежды на то, что ему дадут наконец заняться не книгами, а живыми пациентами, оказались преждевременными. В действительности он очутился все в тех же гулких лекционных залах, где прежде слушал лекции по органической химии, и наблюдал за профессорами все с того же почтительного расстояния. Если к ним и приводили пациента – что на вводных лекциях случалось крайне редко, – Люциуш с трудом мог его разглядеть, не говоря уже о том, чтоб увидеть, как правильно простукивать печень или прощупывать распухшие лимфатические узлы.

Иногда его вызывали для демонстрации практических навыков. На занятиях по неврологии он стоял рядом с больным, лечившимся в дневном стационаре, – семидесятидвухлетний кузнец из итальянского Тироля, с такой тяжелой афазией, что он мог выговорить только одно слово: «ду». Его дочь переводила вопросы врача на итальянский, он пытался отвечать, рот его открывался и закрывался, как клюв птенца. «Ду. Ду», – говорил он, лицо его было красным от досады, по залу же разносился шелест восхищения. Подгоняемый агрессивными вопросами лектора, Люциуш диагностировал опухоль височной доли, стараясь думать только о деле и отгоняя мысли о том, как больно слышать эти слова дочери пациента. Она начала плакать и все старалась взять отца за руку. «Прекратите! – закричал на нее профессор, ударяя ее по пальцам. – Вы мешаете учебному процессу!» Лицо Люциуша горело. Он ненавидел профессора за те вопросы, которые он задает при дочери, и за свои ответы. Но не хотелось ему и оказаться на одной стороне с пациентом, безъязыким и слабым. Поэтому он отвечал четко, без сострадания. Его прогноз скорого вклинения ствола головного мозга, неизбежного разрушения дыхательных центров и смерти был встречен бурными, почти громовыми аплодисментами.

После этого выступления некоторые студенты подходили к нему и приглашали его в свои группы. Но его раздражала их некомпетентность. Он не понимал лени тех, кто нанимал художников, чтобы с их помощью затвердить анатомию кадавров. Он был готов двигаться вперед, трогать пациентов, разрезать их, вынимать из них болезнь. Даже клиническая практика его удручала: за прославленным врачом ходила толпа из восьмидесяти студентов, и хорошо, если хоть двадцати из них позволялось прощупать грыжу или опухоль молочной железы. Однажды – и только однажды – его оставили наедине с пациентом, далматинцем с жидкими волосенками, из чьего ушного канала он извлек столько серы, что из нее можно было бы слепить небольшую, но вполне годную церковную свечу. Мужчина, которому пятнадцать лет ставили диагноз «глухота», смотрел на Люциуша так, словно перед ним был сам Христос, вновь сошедший на землю. Но благодарности, благословения, плаксивое целование рук только смутили Люциуша. И это то, чему он учился? Добыча полезных ископаемых? Тот факт, что его высокочтимый профессор приписал глухоту пациента деменции, только еще больше вгонял его в тоску.

Он вернулся к своим книгам.

К тому времени тягаться с ним мог только Фейерман. Вскоре они оторвались от остальных и стали учиться вдвоем, подталкивая друг друга ко все более изощренным фокусам диагностики. Они заучивали симптомы отравления разными ядами и заражения редкими тропическими паразитами, из озорства примеривали устаревшие системы классификаций (френологию, гуморальную теорию) к своим однокурсникам. Когда Фейерман заявил, что может диагностировать десяток болезней по походке пациента, Люциуш ответил, что ему достаточно слышать походку, и они тут же отыскали пустой коридор, и Люциуш повернулся лицом к стене. Фейерман стал ходить взад-вперед за его спиной. Топ-топ, говорили его ноги, топ-топ-топ, шарк-бум и шарк-шарк, и хлоп-хлоп. Мозжечково-сенситивная атаксия, был ответ, центральная гемиплегия, болезнь Паркинсона, плоскостопие.

– А это? – спросил Фейерман, и его ноги простучали тита-тита-хлоп.

Но это был легкий вопрос.

– Танец бездарный, форма хроническая – возможно, терминальная.

– Я посрамлен! – взревел Фейерман, и Люциуш, чрезвычайно довольный собой, тоже принялся отбивать чечетку.

Иногда ему казалось, что Фейерман единственный его понимает, и только с ним он чувствовал себя непринужденно. Именно Фейерман, который был хорош собой и успел заработать репутацию ловеласа среди сестричек, уговорил его сходить в бордель на Альзерштрассе, поскольку, по его словам, легендарные врачи Бильрот и Рокитанский были там завсегдатаями; и именно Фейерман, ссылаясь на труд «Структура и функции женских гениталий» (Лейпциг, 1824), обучал его приему *titillatio clitoridis*. При этом за прошедшие два года они ни разу не говорили о том, что не имело бы совсем никакого отношения к медицине. Ни разу Фейерман не принял приглашения в роскошный особняк Люциуша на Кранахгассе. А Люциуш никогда не спрашивал, что случилось с родителями Фейермана и отчего они бежали из деревушки близ русской границы, когда их сын был еще младенцем, а также почему у него нет матери. Он знал только, что отец его друга – портной и что он шьет сыну безупречные костюмы из обрезков.

Бильрот, говорил Фейерман, после коитуса закусывал огурчиком, а Рокитанский никогда не снимал белого халата. Великий ван Свитен однажды прописал *titillatio* для излечения фригидности императрице Марии Терезии; именно это спасло Империю. Однажды Фейерман ни с того ни с сего заявил: «Может быть, в один прекрасный день мы женимся на двух сестрах». Люциуш ответил, что это прекрасная идея, и спросил, читал ли Фейерман труд Кламма о применении сонных капель при palpitationis неизвестной этиологии.

Но из всех недугов, которые он изучал, больше всего интересовали его неврологические болезни. Как поразительно устроен мозг! Ощущать конечность через годы после ампутации! Наблюдать привидения у своей постели! Добиваться симптомов беременности (раздувшийся живот, аменорея) просто силой своего желания. Наслаждение, которое он испытывал, распутывая сложные случаи, было почти эротическим. В этих узорах проступала восхитительная ясность: можно указать расположение опухоли в зависимости от того, нарушено ли у пациента зрение или речь, можно свести всю сложность человека к архитектуре клеток.

В университете был профессор по фамилии Циммер, известный рассечением таламуса, которое он проводил еще в семидесятые годы; позднее он издал книгу под названием «Рентгеновская диагностика заболеваний головного мозга». Книгу отыскал Фейерман, но оторваться от нее не мог Люциуш. Зачитав до дыр библиотечный экземпляр, он приобрел свой.

Страница за страницей изображала рентгеновские снимки головы и лица. Стрелочки показывали разрастание раковых опухолей и тончайшие трещинки. Он научился различать тонкие, петляющие сочленения, извилистые пути костных швов, «турецкое седло», в котором располагается гипофиз, более темные воронки у основания черепа. Но взгляд его продолжал возвращаться к гладкому куполу – своду черепа. Здесь свет был туманным, как будто кто-то

выпустил внутрь клубы дыма. Казалось бы, не на что смотреть... клубящиеся оттенки темно- и светло-серого, фокусы света и тени, обман зрения. И все-таки именно там прячется мысль, потрясенно думал он. В этой серой дымке живут страх, и любовь, и память, и облики любимых, и запах влажной пленки, и даже зрение того, кто стоял за рентгеновским аппаратом. Доктор Макьюэн из Глазго, один из его кумиров, назвал мозг «темным континентом». Работая еще до рентгена, он мог видеть живой мозг только в виде крошечной жемчужины зрительного нерва внутри глаза.

Люциуш явился к Циммеру на кафедру неврологии без предупреждения.

Чего не хватает в вашей книге, сказал Люциуш, усевшись напротив старого профессора в комнате, заваленной образцами и коробками с диапозитивами, при всем уважении, герр профессор доктор, чего не хватает – так это изображения сосудов. Если бы можно было изобрести эликсир, который был бы виден на рентгене, впрыснуть его в вены и артерии, увидеть, как извиваются венозные ветви... если б можно было развеять этот туман...

Циммер, со свалывшимися волосами и лохматыми бакенбардами, напоминал старого мерина, давно отправленного на вольный выпас. Он слизнул что-то со своего монокля, протер его и вставил в глаз. Потом прищурился, будто не в силах поверить в такую наглость студента. На стене за его спиной красовались портреты его собственного наставника, и наставника наставника, и наставника наставника наставника – королевская родословная медицины, подумал Люциуш, и приготовился, что сейчас его выгонят. Но что-то в отчаянной бестактности этого неловкого мальчика заинтриговало старика.

– Мы впрыскиваем ртуть, чтобы показать сосуды на трупах, – сказал он наконец. – Но с живыми пациентами этот номер не пройдет.

– А если кальций? – спросил Люциуш, ощущая легкое головокружение, но не отступая. – Йод? Бром? Я читал... Если бы можно было видеть сосуды, можно было бы видеть течение крови, мы видели бы очертания опухолей, инсульты, сужение артерий...

– Я знаю, что мы могли бы увидеть, – резко перебил Циммер.

– Мысли, – сказал Люциуш, и старик поднял бровь, высвобождая монокль и ловя его в полете. Визит был окончен.

Но через две недели Циммер сам позвал его.

– Начнем с собак. Раствор приготовим здесь, а вводить будем на факультете рентгенологии, там есть рентгеновский аппарат.

– С собак?

Циммер, должно быть, прочитал неуверенность в лице студента.

– Ну, мы же не можем начать с профессора Гриперкандля, верно?

– С профессора Гриперкандля? Что вы, герр профессор.

– Наши результаты в этом случае не будут воспроизводимыми, не так ли?

Люциуш колебался. Он настолько не допускал мысли, что профессор такого калибра, как Циммер, может подшучивать над профессором такого калибра, как Гриперкандль, что вначале понял вопрос буквально. Но что на это ответить? Да, можем – он готов подвергнуть вивисекции своего старого наставника? Нет, не можем – признать, что великий анатом так нетипичен, что...

– Мы не будем экспериментировать над профессором Гриперкандлем, – сказал Циммер.

– Разумеется, герр профессор.

Он нервно сплел пальцы. Циммер, явно забавляясь, открыл жестянку, стоявшую на столе, достал конфету и сунул себе в рот. Вторую он протянул Люциушу:

– Карамельку?

Его пальцы потемнели от табака и пахли хлороформом, Люциуш заметил на столе открытый сосуд, по всей видимости содержащий ствол мозга. С минуту Люциуш колебался, не в силах оторвать от него взгляд.

– Конечно, профессор. Спасибо, герр профессор доктор, сударь.

Главное здание больницы находилось примерно в километре от лаборатории Циммера. Две недели Люциуш таскал туда собак. Поскольку ни один фиакр не останавливался, чтобы взять таких пассажиров, ему приходилось возить собак в тележке. На улице у собак – тех, которым удавалось выжить, – нередко начинались судороги. На многолюдных тротуарах прохожие оборачивались на бледного молодого человека в мешковатом пиджаке, который вез в тележке дергающихся псов. Он старался держаться подальше от детей.

Рентгеновский аппарат часто ломался, к нему выстраивались длинные очереди. Однажды он прождал пять часов – в тот день на рентген прибыла королевская семья при полном параде.

Люциуш отправился к профессору.

– Сколько стоит рентгеновский аппарат? – спросил он.

– Аппарат? Ха! Его стоимость намного превосходит бюджет этой лаборатории.

– Я понимаю, герр доктор, – ответил Люциуш, опустив глаза. – Но если купить его на пожертвование состоятельной семьи?

В последующие недели он возвращался домой, только чтобы поспать, перепрыгивая по три ступени парадной лестницы. Мимо бюста Шопена и портрета Собеского, по большому залу, мимо средневековых гобеленов и золоченого обезлюциушного Климта.

Он вставал до рассвета. Он впрыскивал соли ртути и растворы кальция, но изображения получались нечеткими. Масляные суспензии давали прекрасное изображение вен, но они закупоривали сосуды. Йод и бром казались более многообещающими, но слишком большая доза убивала животное, а слишком малая не давала результата на снимке. Чем сильнее он отчаивался, тем больше энтузиазма проявлял его наставник. Старик задумал назвать будущую, еще не существующую субстанцию эликсиром Циммера и уже начал размышлять, удастся ли отследить усиление кровотока в областях активности. Скажем ему: пошевели рукой, говорил Циммер, и увидим, как освещается область в двигательной коре головного мозга, а речь осветит височную долю. Однажды мы проверим это на людях.

А Люциуш думал: именно это я и сказал в первый же день.

Люциуша поддерживала только его мечта: увидеть, как другой человек думает.

Вскоре стало ясно, что они далеки от открытия. Те изображения, которые у них получались, были слишком мутными, а Циммер отказывался публиковать результаты из страха, что какой-нибудь другой профессор украдет их эксперимент. Теперь Люциуш жалел, что предложил ему эту идею. Ему надоело убивать бедных собак – к весне их было уже восемь. Дома Пушек (VII) избегал его, как будто о чем-то догадывался. Он тратил время зря. Фейерман дразнил Люциуша – помнишь, говорил он, как, рассматривая срезы мозга под микроскопом, мы притворялись, что видим свернувшуюся змеей зависть или призывный изгиб похоти?

– Занимательная идея, Кшелевский, но надо и меру знать.

Но Люциуш не отступал.

Большинство их однокашников компенсировало недостаток клинической практики, подвизаясь волонтерами в провинциальных больницах во время каникул. Вскрывали фурункулы дояркам, как говорила его мать, – так что Фейерман отправился один: лечил переломы, штопал раны, нанесенные вилами, констатировал смерть пациента от бешенства, принял девять младенцев у плодовитых деревенских баб, таких крепких, что они порой сами приходили с поля, уже начав рожать. Через три недели, сидя за своим любимым столиком в кафе «Ландтманн», Люциуш слушал, как его друг описывает в деталях каждого пациента, размахивая в воздухе загорелыми родоприимными руками с сильными родоприимными пальцами. Он не знал, чему завидует больше – обедам, которыми кормили Фейермана крестьяне в избытке благодарности, или тому, что смуглые деревенские девушки целовали ему ладони. Или возможности принять младенца, используя те приемы, которые сам он практиковал лишь на атласной вагине мане-

кена. Он провел месяц, экспериментируя со смесью йода и брома, а после обнаружил, что Циммер поменял этикетки на колбах.

– Я не могу описать все это, слов не хватает, – говорил Фейерман, кидая чаевые на серебряный поднос. – Следующим летом поедем вместе. Тот не жил, кто не держал в руках...

– Доярку? – слабо пошутил Люциуш.

– Младенца. Настоящего живого младенца. Розового, крепкого, орущего от жажды жизни.

Последняя капля упала в мае 1914 года.

В тот вечер Циммер с загадочным видом поманил его к себе в кабинет. Нужна помощь, сказал он. Редкий, необычный случай.

На мгновение Люциуш испытал прежнее волнение.

– Какой случай, герр профессор?

– Необычайная патология.

– В самом деле?

– Настоящая загадка.

– Герр профессор сегодня необычайно игрив.

– Серьезный случай копчиковой ихтиодизации.

– Простите, герр профессор?

Тут Циммер не удержался и захихикал.

– Русалки, Кшелевский! В медицинском музее.

Со дня поступления на медицинский факультет Люциуш слышал слухи. Музей, в котором находились диковинки из знаменитой Кунсткамеры Рудольфа II, якобы хранил, помимо других бесценных экспонатов, пару карликов, трех ангелов в формалине и несколько русалок, которых преподнесли Императору после того, как их вынесло на чужеземные берега. Но ни один из студентов никогда не был внутри.

– У герра профессора есть ключ?

Ответом ему была проказливая улыбка, обнажившая десны и мелкие зубы.

В тот вечер они дождались, пока ушел куратор, и спустились вниз.

В зале было темно. Они прошли мимо орудий пыток, бутылей с деформированными эмбрионами, коллекции клювов дронтов, законсервированных морских черепах и сморщенной головы из Амазонии. Наконец они приблизились к дальнему стеллажу. Вот и русалки. Не прелестные девушки, плавающие в сосуде, как всегда воображал Люциуш, а два сморщенных тельца размером с младенца. Кожа на их личиках натянулась, обнажая зубы, а туловища сужались книзу и переходили в чешуйчатый хвост.

Циммер принес с собой рюкзак. Он открыл его и сделал знак Люциушу, чтобы тот положил внутрь одну из русалок. Они понесут ее на рентген и посмотрят, сочленяется ли пояснично-крестцовый отдел позвоночника с позвонками хвоста.

– При всем уважении, герр профессор, – сказал Люциуш, чувствуя, как голос его дрогнул от легкой паники, – я очень в этом сомневаюсь.

– Но посмотрите на поверхность – не видно ни клея, ни ниток.

– Это очень хорошая подделка, герр профессор.

Но Циммер уже нацепил монокль и вглядывался в рот русалки.

– Герр профессор, разумно ли ее уносить? Они кажутся... хрупкими. Что, если она сломается?

Циммер постучал русалкой по стеллажу, словно молотком.

– Очень крепкая, – сказал он.

Люциуш осторожно взял ее в руки. Она была легкой, на ощупь как будто кожаной. Казалось, русалка крепко зажмурилась. Вид у нее был крайне возмущенный.

– Пошли, – сказал Циммер, засовывая свой трофей в рюкзак.

Медицинский музей располагался в подвале. Они поднялись по лестнице и пошли через главный вестибюль, украшенный статуями величайших врачей Вены. Где-то вдалеке мерцал свет. Люциуш был благодарен судьбе за то, что сейчас вечер и все студенты разошлись по домам. Звук, с которым русалка терлась о ткань рюкзака, казалось, заглушал их шаги.

Они уже выходили, когда раздался голос:

– Герр профессор Циммер!

Они остановились и обернулись – к ним направлялся ректор в сопровождении невысокой темноволосой женщины.

Ректор широко улыбался Циммеру, приветственно подняв руки.

Циммер едва заметил его. Вместо этого он пожал руку женщине:

– Мадам профессор! Что привело вас в Вену?

– Лекция, герр профессор, – ответила она по-немецки с явным акцентом. – Теперь все больше лекции.

Тут ректор заметил Люциуша. И представил его спутнице:

– А это один из лучших наших студентов. Керселовский... гм... то есть Курславский...

– Кше-лев-ский, – по слогам произнес Люциуш, не удержавшись. – По-польски такое сочетание букв произносится...

– Конечно! – воскликнул ректор. – Вы слышали о мадам Кюри?

Люциуш застыл на месте. Мадам Мария Склодовская-Кюри.

– Огромная честь, – пробормотал он почтительно. Две Нобелевские премии! Среди поляков Вены она считалась святой.

Мадам Кюри улыбнулась. Сказала по-польски:

– Кшелевский? Поляк?

– Да, мадам профессор.

Она наклонилась к нему, словно заговорщица:

– Какое облегчение! Господи, как я устала говорить по-немецки!

Люциуш с беспокойством покосился на двух мужчин, но они, казалось, были рады, что мадам Кюри нашла себе собеседника. Не зная, что сказать, он ответил:

– Польский – красивый язык.

Но великая исследовательница как будто не заметила, как неловко это прозвучало. По-немецки она обратилась к ректору:

– Можно, он пойдет с нами на ужин? Я так рада повстречать соотечественника. – И добавила Люциушу, по-польски: – Эти старики такие занудные! Умереть можно.

Люциуш посмотрел на Циммера в надежде, что тот вмешается и скажет, что им нужно занести рюкзак на кафедру, но Циммер, казалось, совершенно забыл о русалке.

В тот вечер они ужинали в ресторане «Майсль унд Шадн». Мадам Кюри пожелала размять ноги, поэтому они пошли пешком. На Рингштрассе за ними на небольшом расстоянии увязались два шелудивых пса; они не отрывали взгляда от рюкзака и подвывали от голода. У двери метрдотель предложил взять у Люциуша рюкзак, но тот вежливо ответил «не стоит» и, как ему казалось, незаметно сунул свою поклажу под стул. В начале ужина Циммер принялся подробно рассказывать об их рентгеновских изысканиях, и мадам Кюри задавала острые вопросы о контрастных веществах, большую часть которых Циммер переадресовывал Люциушу. Они приступили к десерту, когда прославленная ученая дама спросила у двух профессоров разрешения перейти на польский.

– Разумеется!

Она повернулась к Люциушу:

– Что в мешке?

– В мешке, мадам профессор?

– Не валяйте дурака, молодой человек. Кто приносит в «Майсль унд Шадн» рюкзак, да еще прячет его под стулом? Там должно быть что-то поистине бесценное! – Она подмигнула. – Последние полчаса я пыталась прощупать его ногой.

– Русалка, мадам профессор, – ответил Люциуш, не придумав ничего другого.

Ее брови поползли вверх.

– В самом деле? Сушеная?

– Э... да, сушеная. Откуда вы знаете?

– Ну, если бы она была законсервирована, мы бы учуяли запах хлороформа. И она не живая, иначе бы наверняка сопротивлялась. Я бы на ее месте точно сопротивлялась. Это же она, да? Все экзотическое всегда женского рода.

Люциуш с беспокойством огляделся.

– Я не мог этого проверить, мадам. Я не знаком с анатомией.

Затем он с ужасом осознал, как превратно можно было понять последнюю фразу. Радуюсь полумраку ресторана, он быстро добавил:

– Я никогда раньше не видел русалок.

Она понизила голос:

– Можно посмотреть?

– Прямо сейчас, мадам профессор? – спросил Люциуш.

– Потом.

Когда ужин закончился, она спросила:

– Можно, студент меня проводит?

Ректор, который сам надеялся удостоиться этой чести, с неохотой согласился. Циммер, к тому времени уже совершенно пьяный, помахал Люциушу рукой.

Она остановилась в «Метрополе». В вестибюле, пока они ждали лифта, Люциуш почувствовал оценивающий взгляд носильщика. Это не то, что ты думаешь, мысленно произнес он, хотя невысказанное предположение ему польстило. Мы всего лишь собираемся взглянуть на русалку.

Наверху мадам Кюри провела его в туалетную комнату, где стояла ванна на четырех ножках. Люциуш открыл рюкзак, и она вытащила русалку.

– О боже. – Она поднесла существо ближе к свету.

В зеркале Люциуш видел их всех троих.

– Какое же уродство! – Она повернулась к Люциушу: – Лицо как у бывшего американского президента Теодора Рузвельта – похоже, правда? Ей бы еще усики и очки...

– Да, мадам профессор. Если американского президента препарировать и пришить ему хвост, они будут очень похожи.

Люциуш, который по студенческой привычке всегда отвечал полными предложениями, повторяющими и слегка распространяющими вопрос, совершенно не собирался шутить, но мадам Кюри расхохоталась. Потом покачала головой:

– Боже правый, зачем вы таскаете ее с собой?

– Профессор Циммер хотел просветить ее на рентгеновском аппарате... Она из коллекции Рудольфа II. Подарок султана. Он думал, мы сможем увидеть, как сочленяются позвонки хвоста и пояснично-крестцовый отдел...

– Сочленяются? То есть он верит, что она настоящая?

– Это возможность, которую он... мы рассматривали. – В зеркале Люциуш видел, как его лицо багрово краснеет. – Рентгеновский аппарат позволяет исследовать феномены, которые прежде...

Она резко перебила его:

– А что думает студент?

– Я думаю, это подделка, мадам профессор. Я думаю, это обезьяна и лопастеперая рыба.

– Почему?

– Потому что я вижу нить, мадам профессор. Присмотритесь – вот здесь, под чешуей. Он показал ей.

– О боже, – отозвалась она. – В хорошенький переплет вы угодили.

Она вернула ему русалку и добавила:

– Ректор говорит о вас с восхищением. Если не возражаете, я дам вам личный совет – как соотечественница. Спасайтесь. Гений осеняет молодых. Вы теряете время.

Но уйти от профессора оказалось не так-то легко.

Вопреки здравому смыслу, Люциуш чувствовал к нему сыновнюю привязанность. К тому времени он мечтал, что когда-нибудь они будут обращаться друг к другу приятельским *du*¹. Поэтому, когда Циммер заявил, что рентгенограмма «не дает возможности прийти к окончательному выводу», Люциуш сказал старику, что собирается проводить больше времени в библиотеке, чтобы найти состав, который будет лучше отвечать их целям.

Он снова начал посещать занятия.

Патологическую анатомию, лекции и лабораторные занятия.

Патологическую гистологию, лекции и лабораторные занятия.

Патологическую анатомию со вскрытиями трупов (Фейерман: «Наконец-то и у тебя пациент!»).

Общую фармакологию, где надо было заучивать длинные списки лекарств, но некому было их прописывать.

Он снова бывал в анатомическом театре, смотрел вниз на сцену.

И так далее. До самого лета третьего курса, когда ему оставалось еще два года и нетерпение снова стало почти невыносимым, но тут вмешалась судьба – на этот раз она вылетела из дула пистолета Гаврилы Принципа в Сараеве и вошла в тела эрцгерцога и его жены.

¹ Ты (нем.).

2

Война была объявлена в июле. Поначалу Люциуш не оценил возможности, которые это открывало. Мобилизацию он полагал помехой в учебе; его тревожили слухи, что занятия приостановят. Однокашники хмелели от судьбоносных перемен, убегали из читален, чтобы попасть на демонстрации, выстраивались в очереди перед призывными пунктами; весь этот патриотизм был ему непонятен. Он не участвовал в толкотне вокруг карт, где все увлеченно изучали продвижение Австро-Венгерской императорской и королевской армии вглубь Сербии, или немецкий марш-бросок через Бельгию, или столкновения с русскими войсками у Мазурских озер. Его не интересовали передовицы, воспевающие «избавление от всемирного застоя» и «обновление германского духа». Прибывший из Кракова кузен Витольд, двумя годами младше его, со слезами на глазах признался, что поступил на службу в пехоту, потому что война – впервые в жизни – заставила его почувствовать себя австрийцем, на что Люциуш заметил по-польски, что война, видимо, также лишила его остатков ума; его просто убьют, вот и все.

Но от торжеств было некуда деться. Весь город, казалось, провонял гниющими цветами. В городских парках брошенные ленты путались в кустах роз; Люциушу повсюду попадались солдаты с гирляндами на шее, шествующие под руку с сияющими подружками. В кинотеатрах устраивали военные сеансы с киносборниками в духе «На наших заводах кипит работа» или «Он перевязывает товарища на поле боя». В госпитале сестры обсуждали, как австрийские вагоны пойдут по слишком широким для них русским рельсам. В газетах печатали портреты врагов, чтобы показать их звероподобную физиогномику. Дома его племянники распевали:

*Плещет Днестр чистый,
Горько плачет Криста:
Не находит места
Казака невеста.*

Он старался не обращать на них внимания.

В небесах висели цеппелины, приспуская носовую часть над Хофбургом из почтения к Императору.

По прошествии нескольких недель стали доходить слухи о нехватке врачей.

Сперва это были только слухи; армии не хотелось публично сознаваться, что подготовка оказалась негодной. Однако на медицинском факультете начались негласные перемены. Всем готовым отправиться на фронт предлагали ускоренный выпуск. Студенты, у которых за плечами было всего четыре семестра, становились лейтенантами-медиками, а у кого шесть, как у Люциуша, оказывались в гарнизонных госпиталях, где четверо или пятеро врачей обслуживали целый полк из трех тысяч солдат. К концу августа Каминский уже служил в полковом госпитале на юге Венгрии, а Фейермана вот-вот должны были отправить на сербский фронт.

За два дня до отъезда друга Люциуш встретился с ним в кафе «Ландтманн». Под сенью бесконечных флажков теснились семейства, в последний раз выбравшиеся в свет с сыновьями. Поступив на военную службу, Фейерман завел привычку непрерывно насвистывать. Он был коротко подстрижен и как-то отчаянно гордился своими аккуратными усиками. Австрийский флаг соседствовал на его военной форме со звездой Давида на значке спортивного клуба «Хакоах», где он занимался плаванием. Подумай хорошенько, сказал он Люциушу, отпивая пиво из кружки с черно-желтой лентой на ручке. Если не ради верности Императору, то ради верности медицине. Ты что, не понимаешь, сколько лет придется ждать, чтобы снова увидеть такие клинические случаи? Гален же учился на гладиаторах! Через несколько дней он, Фей-

ерман, уже будет оперировать – а Люциушу, останься тот в Вене, сильно повезет, если он окажется двадцатым в очереди студентов, прикладывающих трубку к груди пациента.

На улице в сопровождении оркестра двигалась украшенная гирляндами карета скорой помощи Общества спасения; за каретой следовала шеренга женщин с осиными талиями в белых летних платьях и подрагивающих широкополых шляпах. Мальчишки сновали вокруг них, размахивая цветными ленточками.

Люциуш покачал головой. Он заслуживает такого назначения больше любого из однокурсников. Но через два года уже выпуск. А потом – академическая работа, настоящая медицина, достойная их талантов. Тогда как первой помощи может выучиться кто угодно...

Фейерман снял очки и посмотрел их на свет.

– Меня девушка поцеловала, Кшелевский. Очень красивая. Прямо в губы. Вчера вечером, в Хофгартене, на гуляниях после парада. – Он снова надел очки. – Каминский говорит, ему на станции одна панталончики бросила. Кружевные. Совершенно незнакомая девушка.

– Ты не думаешь, что она их бросала кому-то другому, а Каминский просто перехватил? – спросил Люциуш.

– Хахаха! – засмеялся Фейерман. – Трофеем достается победителю, так ведь? – И он погурмански расцеловал кончики собственных пальцев.

Потом он вытащил хирургический справочник, и они принялись изучать стандартный госпитальный набор.

Морфина сульфат, зубчатый зажим, костное долото, конский волос шовный...

Словно двое детей склонились над каталогом игрушек.

– Ну? – спросил наконец Фейерман.

Но Люциуш все понял еще на «долоте».

На призывном пункте он выстоял длинную очередь, в конце которой трудился единственный служащий. Вышел он оттуда лейтенантом медицинской службы с брошюрой в руке; в брошюре были расписаны всевозможные сигналы горна и иерархия отдавания салюта. Потом, вместе с Фейерманом, в винном погребе в Хитцинге, увешанном связками чеснока, они напились в компании венгерских новобранцев. Это были грубоватые, тяжеловесные деревенские парни, почти не говорившие по-немецки, но он пил с ними, пока никто уже не мог толком встать. Казалось, что до них вообще не доходили слухи, что это война австрийцев, что так называемые территориальцы – поляки, чехи, румыны и т. д. в прочих частях Империи – будут жертвовать собой ради Австрии. В конце пирушки они пели, что готовы умереть за Люциуша, а Люциуш пел, что готов умереть за них. Все это казалось каким-то ненастоящим. Несколько часов спустя, возвращаясь домой неверной походкой в жаркой ночи, завернув за очередной угол, он наткнулся на голого по пояс щербатого мальчишку с лентой, обвязанной вокруг головы. Несколько секунд они молча рассматривали друг друга. Потом мальчишка расплылся в улыбке, поднял руку, изобразил пальцем дуло пистолета и прошептал: «Бабах».

Его поступок привел мать в восторг, но она опасалась, что человека, занятого медицинскими обязанностями за линией огня, могут счесть трусом. Так что она купила ему коня и попросила приятеля из военного ведомства отменить призыв и поскорее принять его в ряды улан – по семейной традиции; хотя Люциуш в последний раз сидел в седле, когда ему было двенадцать.

Люциуша эти известия привели в тихое бешенство. Расчет был понятен. Война сделает шахты Кшелевских еще богаче. Каждую взорванную железнодорожную колею надо будет переложить, и она снова будет взорвана, снова переложена, взорвана, переложена заново. Но в конце концов придется держать ответ. И матери нужен хотя бы один патриот, чтобы доказать, что они не просто спекулянты.

Отец, воодушевленный его планами, преисполнился нежных чувств и часами излагал Люциушу историю польской кавалерии, уделяя особое внимание молодцам-уланам. Он и

раньше часто одевался в какую-то разновидность своего старого мундира, но его нынешняя экипировка достигла новых степеней великолепия: алое галифе, ярко-синий китель с двойным рядом пуговиц, сапоги, которые начищались до такого блеска, что в них уже можно было разглядеть смутное отражение фуражки с перьями у него на голове.

Перебирая содержимое своих книжных шкафов, отец спускался с высот верхних полок, где стояли бесконечные тома военной истории. Слезы застилали ему глаза; он напевал непристойные кавалерийские песенки. Когда гасили большой свет, он устраивал для Люциуша театр теней с картинками, которые в последний раз изображал лет десять назад: «боевой конь», «умирающий казак» и «обезглавленный венецианец». Люциуш задумался, не пьян ли отец, но отцовские глаза были ясны – он вглядывался в свое славное полковое прошлое. Бог не создавал воина славнее, чем польский улан! Нет! Если, конечно, не считать польских крылатых гусар, которые скакали с огромными, громыхающими сооружениями из страусовых перьев за спиной.

– Да, конечно, папа, – отвечал Люциуш.

Полки крылатых гусар были распущены в восемнадцатом веке; майор в отставке Кшелевский так и не смог с этим смириться. Люциуш слышал об этом много, много раз с детских лет.

Отец довольно улыбнулся и потрогал ремешок фуражки, который придавливал его гладкую седую бородку. Вдруг его бледно-голубые глаза загорелись: ему пришла в голову мысль!

По бокам парадной лестницы стояли два полных набора обмундирования крылатых гусар. Они вместе перетащили их в бальный зал и обрядились в них. Перья оказались такими тяжелыми, что Люциуш чуть не грохнулся.

– Ты можешь себе представить? – спросил отец, стоявший на удивление прямо, как чучело рыцаря.

Люциуш что-то прохрипел в ответ; пластрон сжимал его хрупкое туловище, он задыхался, гадая, сколько успеет продержаться, прежде чем упадет в обморок. Но отец уже погрузился в грезы.

– Ты можешь себе представить? – снова сказал он, и на мгновение – с трудом сохраняя равновесие, чувствуя легкий ветерок из окна, который шевелил перья, глядя на сверкающие доспехи, на отражение двух крылатых мужчин в зеркале бального зала, – на мгновение Люциуш смог.

– Надо в таком виде явиться на ужин и показаться твоей матери. – Отец постучал костяшками пальцев по доспехам на груди.

Потом он осознал, что Люциуш не умеет стрелять.

– Папа, я завербовался врачом, – повторял Люциуш, но отец как будто не слышал. Он открыл все двери в главном коридоре и окно, выходившее на высокий дуб. Из своего кабинета принес старый боевой револьвер. Подвел Люциуша к дальнему концу зала и подал ему оружие.

– Узел видишь? – спросил он, и Люциуш прищурился, стараясь что-то разглядеть в конце коридора с портретами и статуями.

– Я вижу дерево.

– Узел – на дереве, – сказал отец. – Стреляй.

Рука Люциуша дрожала. Он зажмурился, потянул спусковой крючок. В его воображении родительские бюсты вокруг разлетались мраморной крошкой, куски штукатурки падали с потолка, взрывались вазы. Он стрелял снова и снова, дырявя гобелены, превращая канделябры в стеклянный водопад.

Револьвер шелкнул; гнездо барабана было пусто. Отец рассмеялся и вручил ему пулю:

– Отлично. А теперь с открытыми глазами.

В коридоре, в пределах досягаемости выстрела, появилась мать; рядом с ней величественно гарцевал Пушек.

Люциуш слегка расслабил руку.

– Збигнев, прошу тебя, не начинай опять, – сказала она отцу. Потом подошла и двумя пальцами опустила дуло, другой рукой поглаживая пса.

Мать подала знак маленькому человечку, который прятался за мраморным бюстом Шопена.

– Идите сюда, – сказала она. – Они обезврежены.

Человечек подбежал – с мольбертом под мышкой. Ну да, портретист; Люциуш чуть не забыл. Слуга принес один из старых отцовских мундиров, который художник был вынужден сколоть возле шеи Люциуша, чтобы не слишком уж свободно болтался.

Процесс занял три дня. Когда художник закончил портрет, мать вынесла его на свет, чтобы рассмотреть получше.

– Щекам побольше цвета, – сказала она. – Шея у него тонкая, да, но все-таки не настолько. И что, у него правда уши такой формы? Невероятно! Что только любовь не скрывает от материнского взгляда! Но все-таки выправьте их слегка – такое впечатление, что у него голова сейчас улетит. А выражение лица... – Она отвела художника в обеденный зал, где висел старый портрет Собеского. – Можете сделать его более... воинственным? – спросила она. – В таком вот духе?

Когда первый портрет был закончен, еще три дня ушло на другой, для которого она позировала вместе с Люциушем.

– Мать и сын, – сказала она. – Будет висеть в твоей комнате.

И он почти расслышал – *когда тебя не будет.*

К этому времени новости уже дошли до Циммера.

Профессор отыскал Люциуша в библиотеке.

– Можно вас, – сказал он.

Наедине с Люциушем Циммер не пытался скрывать свое раздражение. Патриотический порыв Люциуша вполне понятен. Не будь сам Циммер так стар, не страдай от своего ревматизма, он бы тоже служил! Но отправляться на фронт? Если Люциушу нужна военная должность, это можно устроить. Он может получить место ассистента в университетском госпитале, прямо здесь, в Вене. Несомненно, больных будет очень много и у него появится множество новых обязанностей. На фронте все будет впустую. Это же не медицина, это мясорубка. Военная медицина – это для медсестер. Помогать при ампутациях – оскорбительно для его интеллекта.

Люциуш понемногу терял терпение. Дело не в патриотизме, думал он. Морфина сульфат, зубчатый зажим, костное долото – вот к чему он стремится. Фейерман писал ему – уже с фронта – про гигантский магнит, которым извлекают шrapнель из ткани. В Вене старшие хирурги расхватают всех лучших пациентов – они ведь тоже ждут сложных ранений, которые принесет война. Ему же достанутся абсцессы или рассечение стриктуры уретры при гонорее. Но скорее его поставят на освидетельствование новобранцев. Нет, нет: Люциуш, лучший по результатам ригорозума, не может всю войну указывать ретивым добровольцам, куда повернуть голову и как покашлять.

Циммер обратился к ректору, и ректор предложил Люциушу место ассистента второго класса в госпитале Императрицы Елизаветы по выхаживанию тяжелораненых.

Ассистент второго класса! Люциуш не стал даже отвечать.

Он поехал на поезде на юг, в Грац, где его семью не знали; поездка заняла полдня. Там он снова отправился на призывной пункт и дал им адрес пансиона, где остановился. За истекшие недели русская армия вошла в Галицию – узкую полосу польскоязычных австрийских земель, спускающуюся по северным склонам Карпат. Германия увязла на западе и на севере; Австрии приходилось выводить свою Вторую армию из Сербии. Люциушу очень повезло: солдат из Граца должны были перебрасывать на фронт в ближайшее время. На всю Вторую армию, на

семьдесят пять тысяч солдат и офицеров, приходилось не больше девяноста врачей, из которых сорок были студентами-медиками Грацского университета.

Он прикинул в уме, что это значит.

Его прошение было принято молниеносно. Вербовщика больше интересовало, хорошо ли Люциуш говорит по-польски, чем его медицинские навыки. Махнув рукой куда-то на север, он сказал:

– Там вообще никто друг друга не понимает. Они ставят территориальцев под команду нашим офицерам, а те не понимают ни слова. И как прикажете воевать?

Тут он встрепенулся и провозгласил: «Да здравствует Государь Император!» – но это только усугубило его кощунственную дерзость.

Штамп было почти невозможно прочесть, поскольку печать износилась до деревянного основания. Шлеп, шлеп, шлеп – семь раз на семь документов. За всю жизнь Люциуш прикасался к четырем живым пациентам, не считая старика, которого избавил от ушной серы, – к трем мужчинам и одной старой слепой женщине, которой, по правде говоря, было все равно, за кого хвататься.

В Кракове у него наконец-то появился временный адрес, и он попросил мать прислать ему книги.

Он и представить не мог, что пройдет почти шесть месяцев, пока он доберется до линии фронта.

В Кракове его приписали к полковому госпиталю близ Равы-Русской, но в день отъезда сообщили, что Рава-Русская пала и вместо этого надо ехать в Станиславов. Потом пал и Станиславов, и его приписали к лембергскому гарнизону. Но Лемберг тоже пал, а за ним Турка и Тарнув. Австрийские рубежи распадались, отодвигались к подножию холмов; казалось, что скоро захватят и Краков. С железнодорожных станций, по ведущим из города широким дорогам полк за полком направлялся на восток. Несмотря на потери, невозможно было не благоговеть перед мощью Империи: кавалерия в доспехах, бесчисленные пехотинцы, воздушные шары и автомобили, велосипедисты, маневрирующие по размытым дорогам под скрежет цепей, сверкающие на солнце ободки их колес.

Представь себе, как мы нужны всем этим людям, с воодушевлением написал он Фейерману, они просто не выживут без наших рук!

Он по-прежнему ждал назначения, бродил по городу, офицерская сабля нетерпеливо колотила по сапогам. Каштаны на бульварах пожелтели, потом покраснели. Он каждый день отправлялся в госпиталь, чтобы ассистировать на операциях. Но, как он очень скоро выяснил, доступ к медицинским действиям в полку, к которому ты не приписан, требует документа М-32, а поезд со stopкой М-32, судя по всему, потерялся где-то между Веной и Краковом. Но зато, ядовито сообщил канцелярист на четвертый его приход, они получили лишнюю кипу Н-32, «Регламента следования маршевых оркестров», – надо?

Люциуш посмеялся бы, не будь он так раздосадован. В госпитальных палатках священники торопливо пробегали мимо медбратьев, чтобы соборовать больных, и маленькие женщины проникали внутрь, поднося иконы умирающим. Казалось, что только у него одного нет никакой цели. Позже, в конце октября, после очередной перетасовки, его приписали к Третьей армии под началом Бороевича, только что снявшей осаду с Перемышля, к тому моменту единственной точки австрийского сопротивления на галицийской равнине. Он снова подготовился к переезду. Китель его был отутюжен, сапоги начищены, прочую одежду он сложил аккуратно, стараясь укрыть ею свои учебники от дорожных невзгод. Но Бороевич отступил в горы, и приказ выдвигаться был снова отменен.

К моменту четвертого откомандирования Люциуш уже начал терять надежду. Он был размещен на постой в краковский Музей естественной истории, в зал крупных млекопитающих, и там, среди скелетов морских коров и китообразных, пытался заниматься. Но учебники

по хирургии как будто издевались над ним, описывая старческий рак, а прочие медицинские статьи посвящали долгие страницы лечению пневмонии методом полного покоя, что вряд ли имело смысл в действующей армии.

Армейские медицинские справочники тоже не очень помогали. Они состояли из следующего:

- пять страниц о смазывании сапог изнутри китовым жиром для предотвращения мозолей и натертостей;
- десять страниц о строительстве отхожих мест;
- глава о «моральной поддержке солдат, которым не хватает супружеского участия»;
- разговорник для австрийских офицеров-медиков, которые пользуют не владеющих немецким языком венгерских солдат, в том числе такие фразы:

Hazafias magyarok! Mindebben mindannyian együtt vagyunk!

Венгры-патриоты! Мы с вами во всем этом вместе!

Nem beteg, a baj az a bátorság hiánya!

Он не болен; его болезнь – отсутствие храбрости!

Persze hogy viszket Somogyi őrmester, nem kellett volna olyan szoknyapecérnek lenni!

Конечно, чешется, сержант Шомоди, нечего было за юбками бегать!

– страница, посвященная полостной хирургии, где на основании мнений различных всемирно известных экспертов и некоторой статистической информации делался вывод, что без полевой хирургии лучше вовсе обойтись: «раны брюшной полости, как правило, более чем в 60 % случаев завершаются летальным исходом, несмотря на приложенные медицинские усилия».

Он снова написал матери, на этот раз с просьбой прислать ему учебные материалы по обработке ран и первой помощи.

На короткое время его определили в дезинсекционный расчет, который должен был заниматься предотвращением вспышек тифа среди беженцев с востока – в основном это были еврейские семьи, спасавшиеся от набегов на их местечки. Лагерь был разбит на скотопригонном дворе к югу от города. Это было ужасное зрелище. Между медслужашими и беженцами – из которых самые набожные отказывались бриться наголо – возникла сильнейшая неприязнь. Начальник лагеря, в мирное время возглавлявший младшую школу, оказался человеком сварливым; его бесило, что армия тратит силы австрийцев ради каких-то поляков и евреев. Люциушу он объявил, что счастлив встретить собрата из мира науки, и по вечерам разъяснял ему свои теории наследственности и природной нечистоты определенных рас. Люциуш не раз видел, как начальник лагеря говорил своим подопечным, почему их заставляют стричься, почему у них пытаются отнять и пропарить одежду. В конце концов Люциушу надоело смотреть, как санитары срывают с беженцев шляпы и кафтаны, и он в одиночку отправился к одному из раввинов, чтобы убедить его в необходимости этих мер. Но старик и слушать не хотел. Он повторял, что с его народом обращаются как со скотом. Случаев тифа пока что не было, и почему издеваются только над ними? Люциуш постарался объяснить механизм передачи тифа: болезнь проявляется не сразу, ее переносят крысы и блохи, и в других лагерях вспышки уже происходили.

– Чем эта болезнь вызывается? – спросил раввин, и Люциуш был вынужден ответить:

– Мы... в смысле, наука... не знает. Чем-то невидимым. Бациллой, вирусом.

– Вы, значит, жжете нашу одежду из-за чего-то невидимого, – с укором сказал раввин. – Из-за ненайденной болезни.

В январе ему сообщили место его пятого по счету назначения – маленькая деревушка в галицийских Карпатах под названием Лемновицы. Судя по карте, она находилась в узкой долине, на северной стороне гор, рядом с Ужокским перевалом на венгерской границе.

Ужок, подумал Люциуш, чувствуя, что в памяти что-то шевелится. Ужок: ну конечно. Именно там знаменитый метеорит осветил небеса за две недели до того, как его отец был ранен в бою; предзнаменование, ставшее частью семейной легенды.

Ужокский метеорит был обнаружен и доставлен в венский Музей естествознания; висевшая рядом картина изображала само событие. Да, он это помнил... он ходил туда с отцом. Возможно, это было единственное воспоминание о рассказах, не связанных с уланами, хотя кружным путем (метеор – пуля – бедро) оно к ним все-таки возвращалось.

Но из Кракова туда добраться было невозможно – путь преграждала война. Ему придется отправиться в Будапешт, объяснили ему, а оттуда – в Дебрецен, а там сесть еще на один поезд.

С учетом его прежних разочарований, в этот план он тоже не верил. Следующие четыре дня никаких новых известий не поступало. Но потом – далеко, в Вене, – в Железнодорожном подразделении штаба Императорской и Королевской армии чиновник второго разряда встал из-за своего стола и, с папкой под мышкой, добрал до соответствующего чиновника второго разряда в Медицинском подразделении, двумя этажами ниже, и вернулся с приказом, украшенным печатью с двуглавым орлом, который он представил чиновнику первого разряда в Железнодорожном подразделении, чтобы поставить еще одну печать, спустился затем на четыре этажа, вышел из здания и по запорошенной снегом улице дошел до Временного подразделения по Восточному театру военных действий, где приказ с обеими печатями был передан соответствующему чиновнику второго разряда в Транспортном подразделении, который внес свое имя в необходимую бумагу в папке, поставил собственную печать, вернул приказ, написал другой приказ и послал его старшему чиновнику по поездкам в Медицинском подразделении Восточного театра военных действий, который, пообедав заветрившейся ржаной кашей с яйцом и с таким густым слоем паприки, что маслянистые отпечатки пальцев, оставленные им на полях документа, оказались розоватыми, встал и, с папкой во внутреннем кармане мундира, вышел на улицу, остановился на мгновение полюбоваться красотой снега, падающего на голову задумчивого амура над входной дверью и на сверкающие крыши, а затем пересек бульвар в направлении полевого почтамта.

Дорога в Будапешт вела через Вену. Там, ровно на противоположной от его дома стороне Внутреннего города, Люциуш успел только купить маринованный огурец у вокзального торговца, прежде чем снова сесть в поезд. Три дня спустя он был в дебреценских казармах, где получил указание совершить последний железнодорожный перегон до местечка, о котором никогда не слышал, под названием Надьбочко, за другим городом, о котором он никогда не слышал, под названием Марамарошсигет, где его встретит и сопроводит далее гусарский караул.

Гусарский караул. Перед его мысленным взором встали бальный зал и исполинские крылья, трепещущие над головами. Около Марамарошсигета. Он произнес это медленно, как ребенок произносит тайное название сказочной страны.

Фейерману он написал: *Ну наконец-то.*

Вечером накануне отъезда, когда Люциуш, охваченный нетерпением, шел по рыночной площади, какой-то мальчишка дернулся в сторону от проезжающего мимо экипажа и с воплем кинулся ему под ноги. Люциуш шагнул вперед по заледеневшему тротуару, чтобы сохранить равновесие, ножны сабли попали между ног, он споткнулся, упал и услышал, как хрустнуло запястье выставленной вперед руки.

Он некоторое время не поднимался со льда, сжимая сломанную руку другой рукой. Он ждал, что ему помогут, но вокруг никого не было. Мальчишка исчез как призрак – вероятно,

торопливо уведенный матерью, которая устрашилась возмездия за столкновение с австрийским офицером.

Возвратясь в казарму, он стянул шинель и расстегнул пуговицу на обшлаге. По установленному порядку следовало бы сделать рентгеновский снимок, но он и так уже знал, что произошло: классический перелом Коллеса, повреждение нижнего отдела лучевой кости, дорсальное смещение, острый фрагмент прощупывается. Рука уже так распухла, что обшлаг расстегнулся с трудом. Злясь на мальчишку и на собственную неосторожность, он выругался. Пальцы он по-прежнему чувствовал – по крайней мере, нервы не пострадали. Но перелом следовало как-то зафиксировать.

Он понимал, что проще и безопаснее всего обратиться в госпиталь. Понимал он и то, что в этом случае его уж точно не отправят сейчас на фронт.

Получалось что-то вроде анекдота. Как Императорская и Королевская армия называет однорукого студента-медика без клинического опыта?

Доктор.

Люциуш слегка потянул себя за ладонь, надеясь, что если он это выдержит, то сможет сам зафиксировать перелом. Но боль была слишком сильна, мышцы непроизвольно сокращались. Ему не хватало решимости. Нужен был физически крепкий помощник.

Люциуш покинул казарму и пошел бродить по городу. Он надеялся найти местного врача, хотя бы даже и ветеринара. Но на большинстве вывесок надписи были по-венгерски, и он их не понимал. Наконец он увидел слово *Kovács* над большой нарисованной наковальней: «Кузнец». Он постучался; ему открыла женщина в пальто, накинутом поверх ночной рубашки. Подозрительно глядя на него, она сказала по-немецки:

– У нас больше нет места. Расквартировать негде. Уже на полу спят.

– Мне не нужен постой. – Он показал ей распухшую руку.

Она исчезла в глубине дома и вернулась с мужчиной, у которого были такие плечи и такая огромная черная борода, что Люциуш подумал, не на самого ли Вулкана он случайно набрел. Он показал кузнецу руку, тот присвистнул сквозь зубы. Его, однако, нисколько не удивило, что незнакомый солдат появился у него на пороге посреди ночи со сломанным запястьем. У него на постое есть медик, позвать его, спросил он. Люциуш помотал головой: он понимал, что медик отправит его в госпиталь. Ему нужна лишь пара крепких рук.

Кузнец отвел его к верстаку и зажег лампу. На полу спало несколько солдат. Люциуш шепотом велел хозяину схватить кисть и предплечье и потянуть в разные стороны.

– И все?

– И все, – подтвердил Люциуш, хотя на самом деле понятия не имел. В его старом учебнике иллюстрация показывала, как будто кость сама собой становится на место.

Кузнец ушел и вернулся с грязной кружкой водки. Люциуш поблагодарил его и залпом выпил. На глазах выступили слезы; он протянул руку. Кузнец поначалу осторожничал, и поскольку мышцы предплечья были сведены, Люциушу пришлось велеть ему тянуть сильнее, потом – еще сильнее. Он чувствовал, как края кости трутся друг о друга. Он терпел, пока силы его не покинули, и он с криком отдернулся назад.

У него кружилась голова; он боялся, что упадет в обморок. Бессвязно поблагодарив кузнеца, он вывалился наружу, на холод. Ему нужно было какое-то наркотическое средство, не только чтобы прийти в себя прямо сейчас, но и чтобы выдержать предстоящий путь верхом.

Госпиталь располагался напротив казармы. В вестибюле было темно, солдаты спали. На сестринском посту сидели две медсестры, но он сделал вид, что знает, куда идет. Где-то тут должна быть кладовка. Он прошел еще через одно отделение, в дальнем конце его наконец обнаружил что искал и засунул в карман несколько ампул с кокаином и морфием и шприц.

Состав должен был отправиться в путь на заре. В казарме он оторвал корешок от учебника гистологии, обернул его рубашкой и смастерил что-то вроде шины. Пользуясь здоровой

рукой, приступил к сборам. Спать он не ложился, тревожась, что отек может привести к сдавливанию нерва. Тогда у него не будет выхода, кроме как доложить о своей травме, и запястье придется подвергнуть операции. Он сказал себе, что если к утру он по-прежнему будет чувствовать пальцы, то двинется в путь. В конце концов, едет-то он в госпиталь, где, если понадобится, ему помогут. Там он скажет, что получил травму в дороге. И оттуда, думал он, его назад не погонят. Он будет учиться, пока травма не заживет. А потом приступит к работе.

Утром он снял шину и позволил руке безвольно висеть. Поднимать ее пришлось только один раз, чтобы отдать честь офицеру, проверявшему его документы на вокзале. Когда поезд тронулся, он снова наложил шину.

До Надьбочко он добрался к вечеру. Там его должен был ждать гусарский караул.

6

С полустанка они двинулись по дороге через заснеженные поля, пока не въехали в долину, густо поросшую сосняком. На ветвях сверкала молочно-белая ледяная короста; когда дул ветер, раздавался легкий стук. В уголках глаз и на ресницах у Люциуша замерзли слезы, шарф, которым он укутал лицо, заиндевел. Обвязав уздечку вокруг здоровой руки, он пытался зафиксировать сломанное запястье, но узкая колея была твердой как железо, и кони время от времени на ней спотыкались. Когда боль сделалась невыносимой, он крикнул гусару, чтобы тот остановился.

Порывшись в рюкзаке, он нашел ампулы с кокаином и морфием. Они замерзли; пришлось сунуть в рот, чтобы отогреть. Он вколол кокаин прямо в место перелома, подождал чуть-чуть, собираясь вколоть и морфий, но передумал. Нет. Лучше экономить; неизвестно, сколько еще придется добираться.

Дорога шла вверх; путь по долине был крутым, но широким. Скоро они достигли перевала, заросшего лесом. Дорога пошла вниз, влилась в очередную долину и продолжила идти под уклон. Они проехали въезд в деревню, отмеченный коряво нарисованным черепом и словами FLECKFIEBER!!! – тиф – и СОЛДАТ! СТОЙ! НЕ ЗАХОДИ! СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ! по-немецки, по-польски и, предположил он, теми же словами по-румынски, по-русински и по-венгерски.

Гусар перекрестился; хотя они проезжали в стороне от въезда, он обогнул его еще с большим тщанием. Как будто оттуда могло выскочить и напасть на них что-то клыкастое и когтистое.

Люциуш снова почувствовал пульсирующую боль в руке. Он опять велел гусару остановиться, снял колпачок с иглы, разбил ампулу и вколол морфий в запястье.

Лес поредел. Они ехали через пустые поля, обезображенные войной. Воронки от снарядов, заброшенные брустверы, окопы. С дерева что-то свисало – тело, почти полностью обледеневшее. В конце поля лежали какие-то темные кучи; казалось, что это валуны, но, приблизившись, Люциуш увидел, что это заледеневшие лошади. Их было около пятидесяти, запорошенных снегом. На мордах распускались причудливые темно-красные бутоны. В лесной тени поодаль, кажется, лежали и другие. Гусар осадил коня.

Под одним из седел трепыхался обрывок ленты, и на нем еще можно было разглядеть буквы *k.u.k.*

Kaiserlich und königlich. Императорская и Королевская. Его армия. Люциушу стало страшно.

– Казаки?

В глубине леса плясали тени. Он видел всадников, таких, как те, что часто являлись ему в детских снах. Потом – только стволы деревьев.

– Казаки не казнят лошадей, – с презрением сказал гусар из-под своей маски. – Это австрийцы отступали.

Люциуш поначалу не понял. Но ему было неловко выказывать свое невежество, и только потом он вспомнил рассказы о поражениях, о том, как животных убивают, чтобы они не достались неприятелю.

Ближе к сумеркам они встретили первых беженцев, семейство с маленькой тележкой, бредущее по заснеженной дороге. Четверо детей, двое сидели на тележке, двое шли рядом, лица запеленуты, как у мумий, куртки набиты соломой так, что почти лопались по швам.

Гусар по-венгерски приказал им остановиться. Он показал на тележку и что-то сказал. Женщина запротестовала. Люциуш не понимал, что именно она говорит, но смысл был ясен: ничего там нет, старое тряпье, и все. Гусар спешился, подошел несколько скованным шагом к

тележке и стал в ней рыться. Женщина стояла рядом. *Nincs semmink!* – кричала она, молитвенно простирая ладони. *Nincs semmink! Nincs semmink!* Но гусар уже обнаружил то, что она пыталась скрыть. Он стал вытаскивать их по одному – кроликов, дергающихся, с выпученными глазами; их дыхание поднималось паром, длинные лапы сучили в воздухе.

Дети закричали сквозь обмотки на лицах. Гусар протянул Люциушу теплого кролика, держа его на вытянутой руке, словно жрец священную жертву. Люциуш помотал головой, но гусар все-таки швырнул кролика в его сторону, и Люциуш поймал его здоровой рукой, прижал к груди. Он не знал, что делать. Он хотел вернуть его беженцам, но чувствовал, что гусар наблюдает за ним сквозь тонкие прорезы своей кожаной маски.

Он засунул брыкающегося кролика под шинель. Кролик выкарабкался наружу. Он поймал его за лапу и на этот раз упихал под рубашку, где, то ли от ужаса, то ли от какой-то физиологической перемены, вызванной соприкосновением с теплой человеческой кожей, тот выпустил струю, которая потекла по животу и под брюки. Люциуш чувствовал, как сердце кролика бьется, ударяясь о его грудь. Он не понимал, почему гусар не убил кроликов прямо там, хотя, учитывая присутствие детей, это казалось почти что добрым поступком.

Он не взглянул на семейство, когда они двинулись дальше.

Они вернулись на дорогу. Еще через час гусар остановился и медленно спешился – еще скованнее, чем в прошлый раз. Он стал возиться со штанами, видимо, чтобы помочиться, и Люциуш отвернулся, чтобы его не смущать. Но прошло несколько минут, а он так и стоял. Люциуш оглянулся. Что-то было не так. Еще через минуту Люциуш услышал, как он ругается, потом постанывает, как будто тужится, и, наконец, сдается и снова залезает в седло.

Ближе к вечеру они въехали в пустую деревню и остановились в заброшенном доме. Со стен все было содрано; на кухне пусто, дверцы шкафов распахнуты, на полу гряда разбитой посуды. В открытом ящике лежала икона святого Станислава Польского, как будто ее там спрятали, а потом нашли.

Польша, подумал Люциуш. Галиция. Где-то в лесах они, видимо, пересекли границу. На столе почему-то стояла красивая керамическая музыкальная шкатулка с незнакомой мелодией. Кровать разворошили, вытащив из матраса всю солому.

Они завели лошадей внутрь, в столовую. Собрав остатки соломы и отодрав последние сохранившиеся дверцы шкафчика, гусар разжег огонь, убил и освежевал кроликов и сварил их в котелке, который был до того приторочен к его седлу. Без маски его лицо выглядело осунувшимся и усталым; Люциуш обратил внимание, что он почти не ест.

– Вы нездоровы? – спросил он, набравшись смелости.

Тот хмыкнул, но не ответил. Поев, они легли, не раздеваясь, под одним одеялом. Люциуш не засыпал. Анестезия начала отходить, и запястье пульсировало болью. Он жалел, что отправился в путь. Далеко ли до Лемновиц? Кокаина у него оставалось еще на день. Он все время крутил онемевшими пальцами, снова беспокоясь, что нерв может оказаться сдавленным. Но в комнате было очень холодно, он и на другой-то руке пальцев почти не чувствовал.

Он еще не заснул, когда гусар пошевелился, встал и подошел к стене помочиться. Как и в прошлый раз, он стоял долго, пять минут, если не дольше, пока не начал стонать, а потом бить себя по бедрам, или по низу живота, или по пенису – Люциуш не видел, видел только, что делает он это с возрастающей яростью.

Люциуш сел.

– Капрал?

Тот замер. Кулаки его были сжаты. Он поднял их над головой и застонал.

– Капрал? – снова сказал Люциуш. И после, очень нерешительно, впервые в жизни, произнес: – Я врач.

Гусар не ответил. Он разглядывал его из темноты – ввалившиеся глаза над небритыми щеками.

Потом, тоже нерешительно, сказал:

– Не идет. Больно, вот тут...

Люциушу понадобились считанные секунды, чтобы понять, о чем говорят симптомы. В учебниках обструкция может объясняться десятком разных причин, но на Восточном фронте, с борделями по краям каждого гарнизона, такое заболевание у здорового в остальном человека может иметь только одно объяснение. В Кракове клиники принимали постоянный поток солдат, которым нужно было расширение уретры после вызванной гонореей стриктуры. Он видел, как матерые, несгибаемые солдаты плакали словно дети.

– Завтра, – сказал Люциуш, – в госпитале, об этом позаботятся.

– Не идет ничего, – сказал гусар.

Люциуш сказал:

– Я понял. Завтра мы доедем до госпиталя...

– Вообще ничего!

– Я понял, понял. – Он глубоко вздохнул. – Когда в последний раз удалось?..

Но гусар не ответил. Вместо этого он повернулся, держа пенис на раскрытой ладони, словно говоря Люциушу: вот, смотри. Люциуш поколебался, но потом достал из своего рюкзака свечку, зажег ее и присел на корточки перед гусаром. Думай. Вспомни лекции об анатомии мочевого пузыря. Беда в том, что он их пропустил ради работы в лаборатории у Циммера.

Он велел гусару потужиться, и на конце пениса появилась капля мочи. Люциуш аккуратно пальпировал его живот. Живот был напряжен, мочевой пузырь переполнен. Когда-то он весело шутил с Фейерманом про хронические венерические заболевания; это явно были не те героические операции, которых он ожидал бы на фронте. Но теперь в его воображении рисовались разнообразные последствия нелеченой закупорки. Лопнет ли мочевой пузырь? Или мочеиспускательный канал? Или почки откажут еще до всяких механических последствий?

– Завтра в госпитале... – начал Люциуш.

Гусар помотал головой:

– Я в седло сесть не могу. – Он согнулся и с такой силой врезал себе кулаком по животу, что у Люциуша не осталось сомнений – теперь-то что-нибудь непременно лопнет.

Оставили меня в одиночестве с умирающим кавалеристом в заброшенной деревне, подумал он. Он не знал ни куда ему надо направляться, ни как вернуться в Надьбочко.

Гусар сказал:

– Я хожу каждый месяц... они берут такую палочку...

– Да, я знаю, – сказал Люциуш. – Это называется «буж». Но у меня нету.

Оба внимательно огляделись вокруг; их взгляд скользнул по иконе, по музыкальной шка-
тулке. Потом гусар произнес:

– У меня есть шомпол к винтовке...

Люциуш почувствовал, как у него все внутри переворачивается.

– Нет, не могу. Там же используют вазелин... Чтобы шомпол можно было продвинуть, его надо...

Но гусар уже копался в своих седельных сумках. Он вытащил оттуда складную щетку из трех частей, которые привинчивались друг к другу. Она выглядела как средневековое пыточное орудие. Но части без щетины были тонкие и гладкие и даже сужались к концам. Из другой сумки гусар достал тюбик ружейного масла.

У Люциуша оставались две ампулы морфия. Используя иглу, запачканную его собственной кровью, он вколол одну дозу гусару и велел ему лечь, ожидая, когда морфий подействует. Потом он выдавил немного ружейного масла на шомпол и снова постарался вспомнить, что, собственно, говорилось в учебнике. Если ему не изменяет память, мочеиспускательный канал резко поворачивает около сфинктера. Если он увлечется, он проткнет стенку канала. Но если стриктура ближе, шанс есть. Он сделал глубокий вдох.

– Держите тут, – сказал он и велел гусару оттянуть пенис. Он вставил шомпол в просвет мочеиспускательного канала и стал очень медленно продвигать его вперед. Гусар сжался. Люциуш остановился, припоминая, что одна из опасностей процедуры – это формирование ложного хода. Левая рука у него дрожала, и он ухватил ее правой. Он вспомнил, что в Кракове, в столовой, он подслушал разговор двух саперов о специфической дрожи, которая охватывала их, когда они осторожно распутывали проводки своих бомб. Он еще немного продвинул шомпол и почувствовал сопротивление. Он чуть-чуть сдал назад, потом опять продвинул, и шомпол снова остановился. Потом толчок – и он продвинулся вперед. Гусар взревел, отдернулся, и Люциуш с шомполом в руках отшатнулся в другую сторону, облитый струей мочи, а гусар со всей силы врезал кулаком по стене.

Сейчас он меня убьет, подумал Люциуш. Но гусар вдруг захохотал.

На следующее утро он был в превосходном настроении.

Целясь мочой то туда, то сюда, он пел. *Orvos!* – сказал он, обнимая Люциуша и что-то полубормоча, полунапевая по-венгерски. Люциуш не понял ничего, кроме одного-единственного слова: *orvos*. Доктор. Этого было достаточно.

Они отправились в путь и выехали на изрытую колеями, пустую дорогу, которая уходила вверх по крутым холмам. Гусар стал весьма разговорчив. Он пел, свистел, барабанил пальцами по бедрам. Хорошо, что Люциуш врач, сказал он. Пациентов куча. И поводил рукой туда-сюда, как пилот.

Они остановились, только когда Люциушу понадобилось снова вколоть обезболивающее себе в запястье. К этому моменту вокруг не осталось никаких признаков войны; лес был девственно чист. Они натолкнулись только на одного человека – старика, который рылся в снегу посреди темных зарослей. Когда они замедлили шаг, Люциуш обеспокоился, что за этим последует грабеж, как уже происходило, но гусар лишь спросил дорогу, и старик, с усилием опираясь на свою клюку, протянул руку с брюквой в нужном направлении.

Сумерки уже сгущались, когда они выехали на вершину небольшого холма и наконец увидели перед собой деревню. Она примостилась в углублении долины; два ряда домишек шли вниз от деревянной церкви, сложенной из больших, грубо обтесанных бревен. За церковью дорога снова шла вверх. В стороне от нее долина расширялась заснеженными полями, спускавшимися к замерзшей реке.

– Лемновицы, – сказал гусар.

Они спустились по дороге к огородам и двинулись вдоль ряда домов. Это были низкие деревянные избы, покрытые соломой, с крошечными окошками за деревянными ставнями; заглянуть внутрь было невозможно. Труб тоже не было. Около дороги валялась пара телег – видимо, брошенных, занесенных снегом. Над одной из крыш что-то зашуршало, и в небо взвилась огромная черная ворона.

Вокруг не было ни души. Люциуш не видел никакой военной части, вообще никакого намека на армию, уж подавно ничего, что могло бы сойти за госпиталь. Может быть, за холмом, подумал он. Если только и это не очередная ошибка. Если только после всего этого пути ему не придется поворачивать обратно.

Гусар остановился перед церковью и знаком пригласил Люциуша спешиться. Люциуш послушался, подошел к двери, постучал и стал ждать. В двери было узкое окошко, напомнившее ему бойницу в стене замка. Гусар велел ему стучать сильнее; теперь он наконец расслышал звук движения, шаги. В окне появился человеческий глаз.

– Кшелевский, – сказал Люциуш. – Лейтенант-медик. Четырнадцатый полк, Третья армия.

Ключ в двери, звяканье затвора. За открывшейся дверью стояла сестра милосердия в сером одеянии, в руке она держала винтовку Манлихера, стандартное оружие Императорской и Королевской армии.

– Я могу поговорить со старшим врачом? – спросил Люциуш по-немецки.

Она не ответила, и он задал тот же вопрос по-польски.

– С врачом? – откликнулась она, по-прежнему скрываясь в тени дверного проема. – Вы же говорите, что врач – это вы.

3

Сестру звали Маргарета. Своей фамилии она не назвала. Фамилии не в обычаях ордена Святой Екатерины, объяснила она. Даже имя Маргарета она приняла в монашестве, отбросив свое мирское наречение вместе с прошлой жизнью. Лицо ее выплывало из темноты притвора, и только когда Люциуш, обернувшись, увидел, как гусар пришпорил лошадь и поскакал прочь (*сбежал*, подумал он позже), она открыла дверь шире и дернула винтовкой, приглашая его войти. Потом навалилась плечом на дверь. Люциуш стоял в полной темноте, пока она гремела затворами: поворачивала ключ в железном замке, вдвигала засов в гнездо. Он повернулся на звук, услышал, как она вставляет ключ в другой замок; раздался громкий щелчок сработавшего механизма. Потом, все так же покачивая оружием, она вывела его на сумеречный свет нефа.

Входя в храм Господень, Люциуш привык поднимать голову, чтобы оценить великолепие потолка, поэтому ему сперва показалось, что церковь в Лемновицах в точности такая же, как десятки других деревянных церквей, которые он видел западнее этих мест, в Тартах, хотя эта церковь, с ее тяжелым куполом и крошечными окошками, намекала на более восточную обрядность. Ряд из шести деревянных колонн поддерживал потолок, с которого свисала пара позвякивающих цепей от канделябров. Вдалеке, в северном трансепте, светился фонарь. Остальное пространство утопало в темноте.

Посмотреть вниз его заставили звуки и запах. Низкий стон раздался откуда-то из мрака. Кашель, тяжелое дыхание. Кисловатый животный дух, какой идет от испорченного мяса. Он всмотрелся. Скамьи отсутствовали, на их месте валялись какие-то свернутые одеяла. И только уловив движение, он понял, что это люди.

Три ряда, по пятнадцать-двадцать свертков в каждом.

Но тут сестра Маргарета заперла наконец вторую дверь и оказалась возле него. Она спросила тихо:

– Можно мне сказать?

Люциуш кивнул, не в силах отвести взгляда от тел.

– Доктор Сокефалви, венгр, ваш предшественник, исчез два месяца назад при обстоятельствах, о которых пан доктор лейтенант, возможно, должен знать.

Люциуш резко повернулся к ней, пораженный этим обращением, в котором смешались польская уважительная форма и немецкий военный чин. Мгновение он изучал ее. Она была больше чем на голову ниже его, лицо ее было заключено в безупречно накрахмаленный апостольник, плотно прилежавший к щекам. Прозрачные глаза непонятного цвета, губы чуть раздвинуты, в них чувствовалось нетерпение человека, который хочет говорить. Он прикинул, что она на год-два старше его. На груди у нее висела огромная цепь с ключом, словно крест, и она все еще не отложила винтовку.

Сестра, казалось, ждала его благословения.

– Да, продолжайте, – сказал он.

Тогда, осторожно отведя его в сторону, чтобы их не слышали лежавшие на полу солдаты, она начала свой рассказ:

– Сперва нас было семеро, пан доктор лейтенант: я, и сестра Мария, и Либуше, и Елизавета, и Клара, и два доктора – один, чье имя не стоит и называть, а другой – Сокефалви, бедный Сокефалви, его я простила. Мы тогда были просто полевым лазаретом – знаете, как говорят, «залатай и отправляй дальше». Только в сентябре верховное командование оценило преимущество нашего местоположения здесь, в долине, и повысило нас до полкового госпиталя, и нам стали посылать раненых с поля боя, чтобы мы лечили их, пока нельзя будет эвакуировать их в тыл. У нас были рентгеновский аппарат и бактериологическая лаборатория, и с помощью молитвы, острых ножей и карболовой кислоты для дезинфекции ран мы могли

оказывать помощь храбрым юношам, которые служили владыке помельче, земному царю. Три месяца мы лечили тех, кого настигла кара миной и саблей, гаубицей, экразитом, отравленной землей. Мы воскрешали людей, прошитых всеми пулями, что только есть в арсенале дьявола, тех, кого настиг взрыв, сабля казака, тех, кто потерял руки и ноги, уснув на морозе. Таково было наше блаженство, пан доктор, слезы радости выступают у меня на глазах, когда я думаю об этом. Даже когда у нас забрали рентгеновский аппарат и увезли в Тарнув, даже когда с последней каплей эозина мы потеряли возможность узнавать тайны бактериологических препаратов – даже тогда мы побеждали. Еще два месяца мы побеждали. Но столько молитв возносилось к небесам, доктор, не только здесь, в Галиции, но и вокруг Припяти, в Буковине и Бессарабии, и, как я слышала, в других далеких местах – в городах Фландрии и Фурлании, в Сербии и Македонии и в великом городе Варшаве, – да, когда столько уст шепчут вечно благосклонные уши Господа и ангелы Его работают без отдыха, отводя пули своим ангельским дыханием, согревая замерзающие в снегу тела, – когда столько уст вопиет к небу, нельзя ожидать, что защита Его будет длиться вечно. И мы простили Его и не роптали, когда пала крепость Перемышль и Он отправил своих ангелов туда, а нас оставил на милость Вши.

Она помедлила. Последнее слово она сказала по-немецки, *Laus*, и лицо ее исказила гримаса отвращения.

– Вы знаете, что такое Вошь, доктор. Я была знакома с ней с детства, и с самых первых дней войны она была неизменной нашей спутницей. Но никогда я не видела ее в таком множестве, как в этом доме молитвы. Чем дольше шла война, тем больше она заражала все вокруг. Никогда, никогда, дорогой доктор, не видала я такой необыкновенной плодовитости ни у одного существа; порой, когда вера изменяла мне, я думала, уж не она ли и есть возлюбленное дитя Господа. По временам казалось, что если убрать из нашей юдоли все, кроме Вши, контуры земли останутся неизменными. Ах, доктор, когда я была ребенком, я представляла всех животных Ноева ковчега ручными, чистыми созданиями, с душистой шерстью и мягкими носами. Нет! Теперь я знаю, что все они кишели вшами, не только крыса, но и лев, и ласка, и злополучный жираф, они сами служили ковчегами для червей, клещей и вшей. Вы не можете представить, сколько вшей было на наших людях. Они были везде – в каждой складке одежды, в каждом шве. Сбивались в клубки, спаривались, разваливались, как угли в костре. Они застревали в расческе, зернистые, как влажная мука. Ах, пан доктор, у дьявола было время попрактиковаться со времен бедного Иова! Ибо если Зверь захочет испытать веру человека, то ему только и нужно, что устроить человеку полевую перевязку в Галиции. Ничто так не привлекает Вошь, как влажные, теплые бинты на ране, ничто так не подстегивает их кровосмесительство. Повязка, которую наложили неделю назад в Лемберге, будет так кишеть похотливыми тварями, что вы услышите, как они валяются на пол целыми комьями.

Она сделала глубокий вдох.

– Конечно, вошь может стать пыткой, но одна она не убивает. Первый случай тифа был в декабре, доктор. Я до сих пор помню того мальчика, его теплую кожу, сыпь, которая расплзлась у него на груди, на ногах и руках, и те странные мысли, которые приходили ему в голову, заставляя кричать от страха. Как мы ни старались, мы его не спасли, и вскоре заболел второй солдат, вон там, – она показала на дальний угол, – и третий, вон там, и четвертый. Мы не отходили от них ни днем ни ночью, но ни хлорная известь, ни крезол не помогали. Карантин не мог сдержать болезнь. И как бы туго мы ни затягивали свою одежду, – она показала на края апостольника, – это не помогало. Вечерами я осматривала Либуше, а она – Елизавету, а Елизавета – Клару, а Клара – меня, и мы находили этих тварей на нашей собственной коже.

Она перевела дух и продолжала:

– Вот так обстояли дела, пан доктор лейтенант, когда страх перед Ней вдруг поразил душу нашего доброго венгерского доктора Сокефалви. Даже сейчас я с горячей любовью вспоминаю его – его книги, его терпение, когда он учил нас ухаживать за больными, его невинные шутки,

что он, дескать, может помочь нам осматривать друг друга перед сном. Он не сразу поддался страху, храбрая душа! Я знаю, какой ужас пронзил его, когда он стоял у операционного стола и вдруг почувствовал Ее на себе. Я видела, как он старается сосредоточиться на операции. Но если чувствуешь Ее, то спасенья нет; как только начинается зуд, его уже не остановить, пан доктор лейтенант, малейший волосок, легчайшее прикосновение шерсти, и вот вы уже чувствуете, что по вам ползет армия этих тварей. Даже сейчас, если я поддаюсь слабости, то сразу представляю, что Она ползет по колену, поднимает свои крошечные острые ножки, высовывает язычок. Нет! Нет, нет, нет! Пан доктор лейтенант Кшелевский, чтобы выжить, надо научиться давать бой таким фантазиям. Но несчастный Сокефалви не смог. Я видела, как он начинает подергиваться прямо в разгар операции, как вдруг замирают его руки в окровавленных перчатках. Сначала еле заметное движение, просто небольшое замедление руки с ножом, но я знала, что он чувствует Ее. Что Она ползет у него под одеждой. По ноге, по руке, по животу – и он начинал резать снова, но Она ползла, и он снова останавливался, начинал, останавливался и в конце концов откладывал нож, сдирал перчатки, и его прежде твердые руки дрожали, когда он хватался за одежду, пытаясь унять отвратительный зуд. Вначале он соблюдал правила приличия и бросался в ризницу, чтобы раздеться. Но шли недели, и он так поддался панике, так измучился, что стал забывать о моем присутствии, обнажать части тела, которые не должны быть видны.

Она впиалась взглядом в Люциуша.

– Можете представить себе этот ужас? Я тоже чувствую, как Она ползет, доктор, но я принадлежу к ордену сестер милосердия, и если мне суждено стать жертвой Ее укуса, то, значит, так тому и быть. Я не теряю достоинства. Святая Екатерина ела струпья своих подопечных, и я должна быть сильной перед больными. Это мой долг. Я смотрю на раздробленный череп и не ведаю страха. Я не дрогну перед гангреной. Нет! Я не смерть вижу перед собой, доктор, а сияние моего небесного венца. Я не крики слышу, а ангельский хор, который встретит меня. И когда я чувствую на себе Вошь, я не шарю руками по телу, точно какой-нибудь португальский орангутан, а обращаюсь мыслями к Отцу небесному на Его троне. Но Сокефалви, доктор, перед лицом страха оказался не так силен. Нигде ему не было спасения. Даже в полях, на прогулке, я видела, как он срывает с себя одежду, обнажаясь на холоде, точно безумец. Ночами я слышала его рыдания – он умолял тварь оставить его в покое. Он так часто мылся крезолом, что с него начала слезать кожа, и это только ухудшило дело, потому что уже нельзя было сказать, какой зуд сверлит его мозг, Вошь ли это или его собственная измученная плоть. Но никакие слова на него не действовали.

Она замолчала. Казалось, она ждет ответа.

Он сказал просто:

– И этот доктор, Сокефалви, уехал?

– В декабре. – Она понизила голос. – Если вы позволите вашей покорной слуге высказать свое суждение, он потерял рассудок. Однажды утром я проснулась, а его уже не было. Но что я могу знать? Вы учились в великом городе Вене, может быть, вы слышали о таком сумасшествии?

Но Люциуш осматривался по сторонам.

– А другие сестры?

– Другие сестры, пан доктор лейтенант?

– Они тоже сбежали?

– О нет. Сестра Мария умерла от тифа, и сестра Либуше умерла от тифа, и сестра Елизавета тоже от тифа. Все, кроме сестры Клары, теперь с Господом нашим. А ее ждет суд Божий. О, у меня много недель не было собеседника. Простите, что я много говорю, этот порок был свойствен мне с детства, а одиночество его усугубило. Конечно, есть санитары, и повара, и пациенты, конечно, они тоже собеседники, но когда ты единственная женщина, надо соблюдать

осторожность, не позволять излишней привязанности, чтобы не повторить печальную судьбу сестры Клары, чтоб тебя не поймали в ризнице, за притворно-супружескими объятиями.

Ее лицо вспыхнуло румянцем, заметным даже в полумраке.

– Ну вот, выложила все сразу! Вам надо отдохнуть. Могу я проводить вас в вашу комнату?

Она посмотрела на него. Это был простой вопрос, но в этот момент Люциуш мог думать только об одном: хочу домой. Как именно, было неясно – гусар ускакал, между ним и полустанком лежало два зимних дня. Но ведь должен быть способ отсюда выбраться. Надо просто объяснить: он не настоящий доктор, Медицинская служба допустила ошибку, может быть, он вернется с другими врачами и сумеет помочь. Но один? Нет... один он ничего не может. Конечно же, она поймет. Конечно же, она знает, как некомпетентно командование, как разрастается хаос войны; она наверняка слышала, что всю Третью армию послали не на тот фронт, она видела их картонные ботинки, знает, что альпийскому патрулю выдали летние шинели. И если он сейчас не скажет ей правду, его неопытность все равно станет очевидной, как только он возьмет в руки скальпель...

– Сестра... – Пауза. И что же он скажет? *Прошу меня извинить? Произошла ошибка? Я никогда в жизни не оперировал, я вылечил только двух пациентов: одного от серной пробки, а другого – от гонорейной стриктуры уретры?* Сейчас, стоя в полумраке, Люциуш чувствовал на себе не только ее взгляд, но и взгляды лежащих на полу пациентов. *Primum non nocere. Не навреди.* Но что это значит в данном случае? Разве он не навредит, если уедет?

Они ведь тоже этого не ждали, подумал он. Они тоже не чаяли оказаться зимой без теплой одежды. Они тоже не готовы. Ближе всего к нему лежал юноша с забинтованной головой и смотрел единственным глазом, с такой мольбой, что Люциуш отвел взгляд.

Надежда, благодарность, но было и что-то еще. Вначале трудно было понять, что именно, но теперь он знал: требование, нет, повеление, возможно, даже угроза. Что сделают все эти раненые, если он скажет, что ничем не может помочь?

– Пан доктор?

Он повернулся к ней. Кто-то другой, казалось, сказал его голосом:

– Важно не нарушать режим пациентов. Что обычно делал в это время Сокефалви?

– Обход, доктор. Если не было ничего срочного, он проводил вечерний обход.

Голос ее звучал мягко, с ощутимым облегчением, пламя свечей, словно маленькое созвездие, отражалось в глазах, которые, казалось, были полны непролитых слез.

– Тогда не будем терять времени.

– Значит, вы останетесь? Останетесь, даже если почувствуете Ее?

Люциуш уже чувствовал Ее. С момента, как Маргарета начала описывать Вошь, он ощутил, как вся его кожа кишит ею, и приложил все силы, чтоб не начать срывать с себя одежду.

– Каждому назначен свой час, – пробормотал он, осознавая, что говорит то, что могла бы сказать она. Сам он до того момента не верил ни во что подобное.

Он взвалил на плечи ранец, и она повела его по проходу между пациентами. На ходу она говорила:

– Они условно распределены по отделениям. В нефе мы держим более легких больных – переломы, ампутации. Оперируем в средокрестии – там лучше всего свет. В южном трансепте держим умирающих, чтобы остальные их не видели. Травмы головы в алтаре, чтоб за ними наблюдать.

Фонари были развешены через равные промежутки. Сейчас он обратил внимание на стены, расписанные фресками на библейские сюжеты. Ковчег, змей, распятия располагались на фоне латинских стихов и пейзажей, которые выглядели как карпатские деревни. Позолоченные святые над колоннадами. Страшный суд на перегородке ризницы, адское пламя, монахи и связанные грешники, идущие по языку дьявола.

В конце нефа, под сценой Благовещения, они остановились. В полу северного трансепта зияла воронка почти в метр глубиной. Стены и ступеньки кафедры были запорошены снегом. Теперь он понял, что свет, который он видел раньше, исходил из рваной дыры в потолке, слегка подлатанной досками и брезентом. Сестра Маргарета ничего не сказала.

– Что здесь случилось? – спросил он, указывая на дыру.

Она улыбнулась, и края апостольника врезались в ее щеки.

– Что здесь случилось, пан доктор! Как видите, в потолке дыра, а в полу воронка. – И она рассмеялась, будто это был самый нелепый вопрос, который ей доводилось слышать.

Когда он поставил свой ранец возле кафедры, она снова заговорила. Всего в церкви Божьей Матери в Лемновицах около шестидесяти пациентов. Большинство попало сюда с Третьей армией, хотя когда войска повели через горы, появились и другие. Последний грузовик с ранеными прибыл неделю назад – шестнадцать солдат, трое доставлены мертвыми, пять с ранениями, требующими немедленной ампутации. С тех пор – тишина. Война пошла дальше, сказала она. Своей дорогой. Иногда бои подходили совсем близко, и тогда здесь слышны были выстрелы, иногда только дальние взрывы. Однажды русские взяли город. А иногда она думала: вдруг о них все забыли? Какое это было бы благословение! В городке еще оставались какие-то люди, русинки, которые, вероятно, были на стороне России, пока русские, отступая, не увели всех мужчин. У госпиталя достаточно провизии, чтобы пережить зиму; вдобавок к рациону, который им привезли в середине января, у церкви есть запасы зерна и репы, семечек подсолнуха, картошки, свеклы. Если поставки будут продолжаться, они смогут продержаться весну, самое трудное время, а летом появятся груши и яблоки и можно будет обрабатывать поля, растить пшеницу...

Но Люциуш уже не слушал.

– Доктор Сокефалви уехал в декабре?

– В декабре, доктор.

– Два месяца назад.

– Да.

– Но вы сказали, с тех пор были ампутации.

– С начала декабря у нас было сорок ампутаций, у двадцати трех пациентов, пан доктор. Пять ног выше колена, пятнадцать ниже. Десять рук выше локтя, шесть ниже. Одна челюсть, но пациент не выжил.

Люциуш смотрел на нее, и сердце его забилося быстрее.

– И кто же производил эти ампутации, сестра Маргарета?

– Он, господин доктор, – она благочестиво подняла глаза на дыру в потолке.

Люциуш не сводил с нее глаз.

– И чьими же руками *Он* управлял, сестра?

Она подняла свои маленькие ладони, вдвое меньше, чем его собственные.

– И эти пациенты здесь?

– Да.

– Все?

– Все, кто выжил и кого не эвакуировали.

– И сколько же из них выжили?

– Выжили четырнадцать пациентов, пан доктор.

– Четырнадцать... из двадцати трех.

Он помолчал, думая о полковых госпиталях Кракова, о ежедневном вывозе трупов.

– Это неплохая выживаемость.

– Да, доктор.

– И Бог имел в своем распоряжении только эти руки?

Молчание, легкая улыбка, словно она почувствовала, какое впечатление произвели ее слова.

– Сестра?

– Бог дал нам морфий и эфир, доктор.

– Да, – сказал Люциуш, неотрывно глядя на нее. – И то верно.

Потом она добавила:

– И вот что, доктор. Я разрешила им использовать оружие, чтобы стрелять в крыс, с условием, чтоб они стреляли в пол, а не друг в друга. Тиф сейчас, слава Богу, отступил, и мы соблюдаем некоторые предосторожности, чтобы он не вернулся. Но вот крысы! Пан доктор, мы во власти крыс. Я заделала все дырки в стенах нашей церкви. Иногда они выпадали из дыр в трансепте, но зимой это прекратилось. Во всех углах стоят ловушки, но они все равно появляются везде, как грибы после дождя. Не пугайтесь, если услышите выстрел.

Он вспомнил, как она возилась с дверным затвором.

– Вы поэтому запирали дверь, сестра?

– Нет-нет, пан доктор. Это от волков.

В тот вечер они проводили обход при свете фонарей.

Сестра представила Люциуша с кафедры, коротко и решительно, словно фельдмаршал: это наш новый военный врач, Кшелевский, из Вены; распорядок останется прежним, обходы будут проводиться дважды в день, если не привезут новых раненых; вопросы, как и раньше, можно задавать санитарам или ей.

Они начали с нефа, от двери, с отделения переломов и ампутаций. Веревки для вытяжения свисали с потолочных балок, а на полу были установлены грубо сколоченные деревянные башенки с противовесами. В обходе участвовал один из санитаров, Жмудовский, еще один поляк с окладистой огненно-рыжей бородой. Как и Маргарета, по холодной церкви он ходил в шинели. Он шел за ней по пятам и навис над ней, когда она наклонилась к первому солдату, австрийскому кавалеристу, которого неделю назад придавила лошадь. Маргарета ампутировала ему ноги выше колен и вправила перелом запястья и сейчас, стоя на коленях, быстро осмотрела раны и показала их Люциушу. Она явно гордилась швом, и Люциуш, который никогда прежде не видел заживающую культю, тем более при свете фонаря, усердно притворялся, что со знанием дела оценивает ее работу. Следующий солдат тоже был австриец, из числа фузилеров Граца, с простреленным плечом. Она только и смогла, что наложить шину и зашить выходное отверстие. Что еще можно сделать с переломом плеча? Но как прекрасно заживает, сказала она радостно, ведь правда?

– Прекрасно, – согласился Люциуш.

Она снова с гордостью взглянула на пациента. Потом спросила:

– Вы же говорите по-немецки?

Люциуш кивнул.

– Пожалуйста, скажите ему, что я видела, как он играет в карты. Это ничего, можно, но пусть не двигает этой рукой, если не хочет, чтобы рана снова открылась. У нас нечем зашивать. Мне в следующий раз придется выдергивать нитки из его шинели.

Люциуш перевел, мужчина серьезно кивнул. Потом Люциуш спросил Маргарету по-польски:

– У нас нет хирургических нитей?

– Есть. Пока, во всяком случае. Но мужчины как дети. Как в той поговорке, готовы съесть курицу, несущую золотые яйца. Никакой выдержки. С ними нужна строгость.

Они пошли дальше.

– Это Брауэр, пан доктор лейтенант, из Вены, обморожение, обе ноги; это Черни, из венгерской Четырнадцатой дивизии фузилеров, огнестрельное ранение бедра, ампутация была на прошлой неделе; это Московиц, тоже из Вены, портной, что очень нам кстати, двусторонняя

ампутация ступней, тоже обморожение, прекрасно заживает, как видите. А вот Грушчинский – поляк. Гангрена ступней, довольно тяжелая, но Господь был на его стороне, несмотря на греховную привычку использовать китовый жир не по назначению. Киршмайер, контузия. Это Редлих, профессор из Вены. Он верит, что человеческую женщину родила обезьяна...

– Кхе-кхе... – Мужчина, лежавший на животе, поморщился и повернулся к ним: – Не совсем. Я же объяснял – это был процесс, длительный процесс изменчивости и естественного отбора...

– Конечно, профессор. *Обезьяна*, доктор, представляете? В общем, его подстрелил казак. Сзади. Чуть пониже хвоста.

Они продолжали обход.

– Ефрейтор Слобода, чешская велосипедная пехота, еще одна ампутация после обморожения. Тарновский: левая рука. О Боже, ефрейтор, осторожнее, держите ее приподнятой – на то Бог и дал нам повязку! А это Саттлер, австриец, постоянно молится, слишком часто даже, это тоже своего рода болезнь. Был ранен в грудь, лежал среди умирающих, пока не вмешался Святой Дух.

В конце прохода они остановились.

– А это у нас... – она встала на колени, – это у нас сержант Черновицкий, еще один поляк, хотя тут нам особо гордиться нечем. Ампутация ноги и руки. Покажите доктору, сержант. Видите, как хорошо заживает? Но мы помогли ему не только с физическими недугами, пан доктор, но и с *духовными* тоже. Когда сержант Черновицкий прибыл к нам, он не знал, как правильно обращаться к сестре милосердия. Но мы научились! Мы усвоили, что сестра милосердия – не девка из кабака, с которой можно позволять себе вольности. Верно, сержант?

– Совершенно верно, сестра, – отвечал солдат, опустив глаза.

– Скажите доктору. «Вам что-нибудь нужно, солдат?» – это невинный вопрос, правда, сержант?

– Верно, сестра. Это медицинский вопрос.

Стоя рядом с ней, Жмудовский изо всех сил старался сохранять суровый вид, скрывая улыбку в бороде.

– Да, именно, медицинский вопрос, – сказала Маргарета. – И как мы отвечаем, когда нам задают медицинский вопрос?

– Мы отвечаем любезно, сестра. Мы знаем, что Бог даровал нам великую милость, оставив в живых, и мы благодарим Его кротостью и добрыми делами.

Она повернулась к Люциушу с умиротворенной улыбкой:

– Видите, доктор, какой он у нас культурный.

Когда они отошли и солдаты не могли их слышать, Люциуш сказал шепотом:

– Вижу, вы его усмирили. Могу я спросить...

Ее глаза сверкнули.

– Как я уже сказала, доктор, Бог дал Своим чадам морфий. И Он же дал право лишить морфия.

Она мимолетно улыбнулась, и он впервые увидел ее мелкие зубы. Он вспомнил солдата в Кракове, который кричал от боли, когда кончилось болеутоляющее.

Она, должно быть, почувствовала, что ему не по себе.

– Я здесь одна, доктор. Тут или морфий, или Манлихер.

Воцарилось долгое молчание. Потом она встретилась взглядом со Жмудовским, и они оба расхохотались.

– Это шутка, пан доктор. Я пока никого не застрелила.

Еще одна пауза.

– Во всяком случае, здесь, в Лемновицах. Ах, доктор, это тоже шутка. Что ж вы так пугаетесь. У вас все время такой вид, будто вас вот-вот поведут на виселицу.

Они продолжали обход. От одного края к другому и обратно. Нам повезло, сказала она, обычно на обходе попадаете пара ампутаций, которые начали подгнивать, а в этот раз, кажется, обошлось.

– Да, – согласился Люциуш. – Повезло.

Он все пытался понять, когда наступит подходящий момент, чтобы признаться. Им всем крупно повезет, если он не будет их лечить.

Но он не признался. До конца второго ряда и обратно, по третьему, теперь к отделению терапии – лихорадки, кашель, дизентерия, за небольшой ширмой, в жалкой попытке защитить остальных от заражения. Пушманн, Млакар, оба с пневмонией. Надлер: жуткий абсцесс миндалин. Кулик, доктор, бедняга Кулик: хроническая диарея с тех пор, как мама нарочно отравила его прощальным ужином, чтоб его не послали на фронт.

И дальше... Да, бедный Кулик, думал Люциуш. Но *твоя* мать, по крайней мере, не хотела пускать тебя на войну.

Травмы головы, алтарная часть. Первые два пациента в коме, лежат с трубками, из которых вытекает в кюветы белесая жидкость. Возле третьего Маргарета остановилась и обернулась.

– Имя неизвестно. Судя по форме, австрияк, – сказала она. – Но мы не нашли никаких документов. Поступил два дня назад, его подобрали на дороге. По крайней мере три трещины в черепе, хотя мозговая оболочка не пострадала. Непонятно только, когда надо начинать декомпрессию – Сокефалви говорил, у врачей нет согласия в этом вопросе. Одни считают, что надо действовать быстро, как только появляются первые признаки повышения черепного давления, а другие – что операция только ухудшает дело. Пока что я выжидала. Но со вчерашнего дня он не просыпается. Не знаю, как поступить.

Она повернулась и посмотрела на солдата. Она ждет моего ответа, подумал Люциуш. Сердце опять заколотилось. Он как будто снова попал в университет, его вызывали отвечать перед курсом в лекционном зале. Но когда он стоял перед легендарными профессорами, он не трусил так, как здесь, перед медицинской сестрой. Он вспомнил старого итальянца, которого осматривал когда-то во время демонстрации практических навыков. Через неделю тому человеку просверлили череп, чтобы ослабить давление на мозг, вызванное опухолью. Даже тогда это казалось варварством. А сейчас он и подумать боялся об инструментах, которые использует Маргарета.

Он встал на колени возле солдата. Изможденное лицо, на щеках жидкая поросль. Дыхание тихое, поверхностное. Повязка вокруг головы пожелтела, будто пропитанная яичным желтком.

Долгое время Люциуш просто смотрел на пациента, замерев, понимая, что он не просто не знает, что делать, но может навредить еще больше.

– Вы можете его осмотреть, доктор.

Он не шелохнулся.

– Пан доктор лейтенант?

Он пытался припомнить, как производят простейший неврологический осмотр. Вызвал в памяти страницы учебника, но порядок действий ускользал от него. Исследование ориентации в пространстве, потом черепные нервы, потом мышечный тонус...

Рядом с ним Маргарета тихо сказала:

– Сокефалви обычно проверял глаза.

Радуюсь, что в полумраке не видно, как он покраснел, Люциуш наклонился ближе к больному и попросил его открыть глаза. Ответа не последовало. Люциуш снова замер.

– Когда я говорила «осмотреть», я имела в виду, что вы можете его трогать, доктор. – Теперь в голосе ее появилась новая нотка, беспокойство с оттенком раздражения или нетерпения. – Возможно, в Вене врачи более осторожны. Но здесь, если уж мы собираемся просвер-

лить ему дырку в голове, то не боимся поднять ему веки. Если только пан доктор лейтенант не привык к другому методу осмотра?

– Нет-нет, – смущенно сказал Люциуш.

Он осторожно раздвинул веки больного большим и указательным пальцами. Маргарета протянула ему свечу раньше, чем он успел попросить ее об этом. Люциушу хотелось огрызнуться, сказать ей, что он прекрасно знает о зрачковом рефлексе. Опухоль мозга заставляет опуститься мозговой ствол, и он начинает давить на третий глазодвигательный нерв, нити которого контролируют сокращение зрачка. Он читал об этом, видел, когда препарировал трупы людей и свиней. Он поводил свечой туда-сюда и сказал как можно официальнее:

– Кажется, *nervus oculomotorius* не поврежден.

Она не ответила.

– Кажется, *nervus oculomotorius* не поврежден, – повторил он. – Это опровергает гипотезу об образовании опухоли.

– Да, пан доктор, – с сомнением в голосе ответила Маргарета. – Окуломоториус. Прелесть что за слово. Так как, сверлим или ждем?

Холодный ветер просвистел в залатанной пробоине крыши. В воздухе закружились сверкающие снежинки.

Она наклонилась к нему и прошептала так, чтобы другие не услышали:

– Доктор, *Сокефалви бы подождал*.

Он молча кивнул в знак согласия. Больной судорожно вздохнул, вернулось его тихое частое дыхание.

Они встали. Маргарета сказала, почти ласково:

– Давайте я сама осмотрю остальных? Закончим с травмами головы – и пойдете отдыхать. Мы обычно не беспокоим умирающих в трансепте так поздно.

– Да, сестра, – сказал он.

Она больше не задавала вопросов. Они осмотрели еще семь пациентов, все недавно поступившие. Раз или два он говорил что-то, что запомнил из учебников, но эти реплики, кажется, только подчеркивали его невежество. Вскоре он совсем замолчал.

Закончили они около десяти.

– Спасибо, – сказала она Жмудовскому, и тот, уходя, отсалютовал Люциушу. Он тоже был свидетелем его позора, хотя милосердно не подал виду.

На мгновение Люциуш и Маргарета остались одни в средокрестии, у операционного стола, который, как он сейчас понял, был сделан из церковных скамей. Она устремила на него прямой взгляд, глаза ее оценивали, взвешивали собственные перспективы, которые, вероятно, казались ей сейчас довольно незавидными.

Она молчала не более нескольких секунд, но когда заговорила, он понял, что решение принято.

– Мы справимся, – сказала она.

Он ждал, понимая, как красноречиво его молчание, – ведь он не спрашивал, что она имеет в виду.

И тут она добавила:

– А теперь расскажите мне, что случилось с вашей рукой.

4

Люциуш разместился в бывшем доме священника, отдельной постройке, которая выходила во двор с огромным буком посередине; верхние ветви поднимались до церковного шпиля. На снегу во дворе были протоптаны дорожки, соединявшие три постройки: церковь, дом священника и еще один домик с двумя комнатами; одна служила баней, вторая была приспособлена для карантина. Дальше, за воротами, раскинулось кладбище, где кресты едва выглядывали из сугробов.

Отдельный вход в комнату Люциуша был заперт, и Маргарета показала ему вторую дверь, которая открывалась в кухню. Там двое мужчин – один из них без кисти руки – сидели и чистили картошку рядом с шеренгами полевых печей и котлов.

– Это Крайняк, наш старший повар.

Тощий как осина человек шмыгнул красным носом и отдал честь своим обрубок.

– Честь имею, герр доктор! Надеюсь, вы любите соленые огурцы.

– А, я забыла вам рассказать, – вмешалась Маргарета. – В январе нам случайно доставили двести кило огурцов вместо щелочного раствора. Это секрет. Договорились?

В конце комнаты с потолка свисали освежаванные свиные туши и несколько кур. В углу сидел еще один человек с дробовиком на коленях. Маргарета кивнула ему.

– Это хорват, немножко говорит по-немецки. Я не понимаю ни слова.

– Ружье тоже для защиты от крыс?

– Очень хорошо, пан доктор, – кивнула она. – Я беспокоилась, вы скажете – от русских, но вы все схватываете на лету.

Она положила на тарелку краюху хлеба и вареную репу, и они прошли в следующую комнату – помывочную с чанами для дезинфекции, веревками, на которых в беспорядке висела солдатская форма и разные одеяла. Они продрались сквозь влажную, замерзающую шерстяную ткань и наконец дошли до двери в его комнату.

Комната была невелика – четыре размашистых шага от стены до стены; на кровати матрас из соломы и одеяло из овчины; письменный стол, стул, дровяная печь. Это была комната Сокефалви, сказала Маргарета, и ее не стали трогать, когда он исчез, ждали нового врача. Она отперла засов на дальней двери, выходящей во двор.

– Чтоб вам не пробираться через мешки с картошкой всякий раз, когда понадобится прилечь, – сказала она.

Маленькое окно, уже запотевшее от их дыхания, сияло золотом, отражая свет, исходящий из церкви. Она поставила тарелку на стол рядом с журналом для записи пациентов и отогнула край одеяла, что показалось ему символическим жестом гостеприимства, пока он не сообразил, что она проверяет кровать на вшивость. Одеяла лежали прямо на матрасе. Простыней не было; ну разумеется, подумал он, коря себя за то, что вообще обращает на это внимание.

Осмотрев все, она повернулась к Люциушу. Ему казалось, что она собирается спросить еще о чем-то, но она сложила руки и слегка присела в подобии реверанса.

– Моя комната в ризнице. Перед дверью звонок, если вам понадобится. – Она повернулась к выходу, потом снова к нему. – А, вот еще что, доктор.

– Да?

– Не снимайте сапоги.

– Сапоги?

– Если придется бежать. И держите все документы при себе, у австрийцев дурная привычка считать, что любой человек без их бумаг – шпион. – С этими словами она исчезла в ночи.

Люциуш поставил свой ранец на пол и подошел к столу. Еда успела остыть, но он сильно проголодался. Набив рот, он листал журнал с записями. Имен и ранений было несколько сотен;

все записано одним аккуратным почерком. Он попытался представить своего предшественника. Маргарета никак не описала Сокефалви – ни его возраст, ни звание, ни врачебный опыт. Люциуш представлял себе человека немолодого, потому что в его воображении все врачи были немолоды, но, задумавшись как следует, он понял, что ничто не мешало венгру быть таким же студентом, возможно, ассистентом второго, неназываемого доктора, чье преступление, как он теперь подозревал, было как-то связано с сестрой Кларой. Нет никаких оснований считать, что Сокефалви тоже не послали сюда после шести семестров обучения. Никаких, кроме того, что Сокефалви, кем бы он ни был, видимо, знал, что делать с трещиной черепа, а Люциуш – Люциуш знал, как сделать рентгеновский снимок позвоночника русалки.

Он сел. Воспоминание о русалке подтолкнуло его к мысли о Циммере, а потом о Фейермане, который теперь где-то в Сербии. Попал ли его друг в такую же передрагу? Однако госпиталь, который Фейерман описывал в письмах, был невелик, но работал исправно, там были другие хирурги, санитары, сотрудники Красного Креста, паровая прачечная, рентгеновский аппарат, бактериологическая лаборатория – а не промерзлый пункт первой помощи с вооруженной полубезумной сестрой и операционным столом из церковных скамеек.

Он провел здоровой рукой по волосам и откинулся на кровать, не снимая шинели. Что, теперь одежду тоже не снимать? Он представил себе, как убегает от орды орущих казаков голый, в одних сапогах. Смешно не было. Все его пугало – дыра от бомбы в церковной крыше, крысы, как в нянькиной сказке. Вот от этого его пытались защитить родители? Что, теперь уже слишком поздно просить их, чтобы они помогли перевести его куда-нибудь? Тут, впрочем, тоже было чего пугаться. Будь отцовская воля, Люциуш мог бы оказаться уланом, скачущим навстречу гаубицам и минометам на плохо управляемом, незнакомом коне.

Он повернулся на бок; запястье заныло, сабля ткнулась в бедро. Он почти забыл, что такое боль; страх, подумал он – неплохое обезболивающее. Когда он рассказал Маргарете о своей травме, она попросила разрешения осмотреть ее – осторожно прикасалась к кончикам его пальцев, чтобы оценить сохранность нервов, и легко нажимала на сустав, чтобы проверить, как заживает трещина. Она выдала ему несколько склянок морфия из кабинета под алтарем. Но сейчас он был благодарен перелому – только он и защищал его от окончательного унижения. Он отцепил саблю и повесил ее на спинку кровати. Да, подумал он, повезло ему с этим торопливым мальчишкой, с заледеневшей улицей. Если Маргарета и правда проводила ампутации, он сможет наблюдать за ней, учиться и, возможно, когда рука заживет, узнает достаточно, чтобы начать самому. Раз сестра научилась, у него, вероятно, тоже получится.

С этой мыслью Люциуш поудобнее устроился в кровати. Ноги в сапогах казались огромными и тяжелыми. Он закрыл глаза. Спать вроде бы не имело смысла, но он хотел хотя бы на время избавиться от чувства страха.

И, видимо, все-таки заснул, потому что стук в дверь его разбудил.

Это опять была Маргарета. На шинель у нее была накинута еще одна шинель, апостольник был скрыт под запорошенным капюшоном.

– Быстро, – приказала она, – пошли.

Еще не рассвело.

В карантинной части горел огонь, бросая отсветы в кружащуюся метель. За воротами стояла карета скорой помощи, из которой вытаскивали накрытые тканью носилки. Автомобиль был невелик – длиной в человеческий рост, а высотой и того меньше, – но количество раненых казалось неиссякаемым. Люциуш повернулся к Маргарете в ожидании каких-нибудь указаний, но она исчезла, оставив его одного. Вокруг кричали, раздавался скрип обуви, грохот дверей, но падающий снег приглушал все звуки. Две поисковые собаки – польские огары, гончие, знакомые ему по отцовским охотничьим выездам, – носились туда и сюда, словно им забыли сказать, что их работа окончена. Они выглядели как потусторонние призраки со сверкающей гладкой

шерстью, похожие на угрей в непрерывном движении, и оставляли неглубокие следы там, где их носы прошли по пушистому снегу.

Наконец один из людей – судя по обилию ругательств, понятия не имеющий, что перед ним офицер, – позвал его на помощь. Люциуш поспешил к кузову, едва не свалился с заснеженных сходней, пошатнулся, ударился лбом о фонарь, висящий над раскрытым нутром. К счастью, этого никто не увидел. Он сунулся внутрь и тотчас инстинктивно отпрянул назад от вони. Там оставалось двое раненых – на носилках, закрепленных на планках. Он помедлил. Сзади ему крикнули, чтобы хватался за свой конец носилок. Он послушался, и только когда носилки отделились от закрепляющей планки, сообразил, что забыл про свое запястье. Боль пронзила руку, и он дернулся, едва не уронив раненого.

Его бесполезность, казалось, никто даже не заметил. В кузов влез кто-то, оттолкнул его, схватил носилки, потом и вторые тоже оказались снаружи. Люциуш спрыгнул на снег. Пустой автомобиль сразу же двинулся прочь. В пятне фонарного луча закружились снежинки. Он увидел, как его собственная тень метнулась по стене церкви, и все затихло.

Внутри, в карантинной части, Маргарета повесила обе свои шинели у двери. Люциуш увидел, что Жмудовский и два человека, с которыми он не успел познакомиться, уже заняты. На плитке в углу кипел котел с бульоном. Воздух был тяжелый, спертый, влажный. Раненых раскладывали на соломенные тюфяки вокруг огня, и Маргарета быстро переходила от одного к другому, задавала вопросы, щупала пульс.

Из четырнадцати человек восемь были мертвы и уже окоченели. Один солдат замерз сидя, в лохмотьях одежды, с широко разинутым в крике ртом. Люциуш не мог оторвать от него глаз. Он никогда не видел такого крика, таких зубов, сверкающих в алой пещере рта...

– Боже мой.

– Доктор.

– Но он...

– Доктор, прошу вас, не таращьтесь, идем. – Маргарета взяла его за рукав.

– Но у него нет челюсти, это...

– Он мертв. Он с Богом. Не с нами. Пойдемте скорее.

К этому моменту живых уже отделили от мертвых. Осталось три огнестрельных ранения в руки и ноги; две травмы головы; ранение в живот. Почти у всех были обморожены конечности. Маргарета накрыла их одеялами и велела дать бульону тем, кто мог пить.

– Разве не надо их в операционную? – спросил Люциуш.

Она помотала головой:

– Не сейчас. Они должны согреться; надо уничтожить вшей. Если нет сильного кровотечения, доктор, мы их сначала приводим в божеский вид. Со вшами мы в церковь никого не пускаем. Последний пациент, занесший в церковь вошь, убил четырнадцать солдат и трех сестер. Я не могу позволить, чтобы такое повторилось.

Жмудовский стал раздевать солдат одного за другим, скрести их щеткой, которую опускал в ведро с мыльной пеной, и потом переправлял их, трясущихся от холода, во вторую комнату, поменьше, где их быстро закутывали в чистую одежду с белым налетом хлорной извести.

Присев на корточки возле солдата, стонавшего от раны в живот, Маргарета подозвала Люциуша.

– Видите? – сказала она, поднимая руку больного с ошметками кожи под ногтями. – Он чешется. Это, пан доктор, и есть Зверь.

На мундире были вышиты саперские шевроны. Под одеждой кто-то запихал в рану носок, обеденные салфетки и фотографии; когда Маргарета их вынимала, Люциуш увидел полчища вшей, падающих на пол неровными комками. На другом конце комнаты раздался крик; Люциуш обернулся и увидел, что пациент с травмой головы встал и направляется к двери. Маргарета ринулась к нему, Люциуш остался на месте. На распластанном перед ним теле он

увидел последний слой – женскую шаль в засохшей крови, приклеившуюся к животу солдата. Он начал отдирать ее, и внезапно его руки наполнились внутренностями. Маргарета возникла у него за плечом.

– Вы что сделали? О Матерь Божья! Никогда – никогда не снимайте последний слой, если не готова новая перевязка. Да еще на животе! Господи.

Он попытался удержать кишки, чтобы они не валились на пол, но они продолжали вылезать горячими мокрыми свертками. Сапер начал задыхаться. Люциушу казалось, что на его глазах происходит метаморфоза, что человек выворачивается наизнанку.

– В сторону, доктор!

Люциуш отступил; рукава его намочили в перитонеальной жидкости. Маргарета схватила чистый бинт, подобрала кишки солдата одним движением и закинула их обратно, внутрь, несмотря на налипшую на них грязь. Она продолжила разворачивать бинт и свободной рукой перевязала солдату живот. Потом повернулась к Люциушу:

– Мойте руки и пошли со мной. Вот теперь мы будем оперировать. Начнем с травм головы, потом ампутируем эту руку, эту ногу, этот локтевой сустав и это предплечье; ту руку можно не трогать. – После секундной паузы она добавила: – С разрешения пана доктора.

– А этот солдат? – спросил Люциуш, который так и не мог оторвать взгляд от сапера.

– Такой вот запах? – Она помотала головой. – Умрет к утру. Не переживайте, это не из-за вас, он и так отходил. Его надо будет согреть. Если он проснется, мы скажем, что он дома; если он будет называть вас отцом, зовите его сыном. Может, в Вене по-другому, а здесь мы делаем вот так.

Санитарам, которые обменивались тихими репликами, не слышными Люциушу, Маргарета сказала:

– Доктор сломал руку. Она скоро заживет. А пока делаем все как прежде. Пойдемте, доктор.

Но Люциуш не мог оторвать глаз от солдата. Тот что-то вытолкнул изо рта и с болезненной гримасой зашелся в кашле. Вокруг будто изменилось освещение. Запах заполнил Люциушу ноздри, голове стало жарко и влажно...

– Пойдемте, доктор. – Потом она добавила, обернувшись к Жмудовскому: – Дайте этому солдату морфия как можно скорее. Вот увидите, доктор, ему станет легче. Он не понимает, что происходит вокруг. Тяжело, конечно, но вы привыкнете. Пойдемте.

Они вышли на холодный голубой свет. Занималась заря. С ветвей бука сыпались сверкающие снежинки. В церкви она подняла кувшин с жидкостью янтарного цвета, стоявший у подножия операционного стола, сделала глоток и прыснула себе на руки, потом передала кувшин Люциушу. Он понюхал, у него заслезились глаза.

– Это горилка, доктор, – сказала она. – Местного разлива. Сокефалви называл ее «врачебная отвага». Дезинфицирует руки и согревает нутро. Возможно, единственное, в чем пока нет недостатка.

У стола стоял ящик; встав на него, Маргарета могла достать до лежащего там тела. Она еще раз сполоснула руки, на этот раз карболкой; смоляной запах держался в воздухе, пока она надевала перчатки. Начала она с солдат с травмами головы. Первый был молод, без сознания; вдавленный перелом шел от уха до середины лба. Рану перевязали в полевых условиях, и, убрав бинт, Маргарета обнаружила абсцесс, проникший глубоко в мозг. Она присвистнула.

– Матерь Божья. Этому уже несколько дней.

Она медленно выцепила несколько фрагментов черепных костей, убрала гной, промыла рану и осмотрела серо-розовую ткань при свете свечи.

– И это вот тут рождаются мысли! – восхищенно сказала она, но не стала продвигаться дальше, а поставила дренажную трубку и зафиксировала ее повязкой.

Санитары вкололи солдату противостолбнячную сыворотку и унесли его. Маргарета ополоснула перчатки карболкой и горилкой; на стол положили следующего пациента. У этого была простая трещина черепа без повреждения дуральной оболочки, Маргарета лишь промыла и перевязала ему голову. Потом велела, чтобы несли пациентов на ампутацию.

Подошел Жмудовский с маской и бутылкой для эфира, встал во главе стола. К полудню Маргарета удалила две ступни и кисть; Люциуш стоял рядом с ней и смотрел, как она перевязывает конечность жгутом, разрезает кожу, отодвигает мышцы и размеренными гибкими движениями отпиливает кость. Она сшила остатки мышц над костью, прежде чем закрыть рану лоскутом кожи. У пациента со шрапнельной раной бедра она спросила:

– Это когда случилось, рядовой?

Тот ответил, что в январе.

Когда наркоз действовал, Маргарета начала срезать куски, что-то бормоча, как будто произнося молитву; она удаляла мертвую ткань, пока не осталась только розовая, здоровая, кровоточащая плоть. К этому моменту большей части бедра и мышц на задней поверхности уже не было. Солдат пошевелился. Они добавили эфира и отрезали ногу.

Стемнело, и Жмудовский принес фонарь. Люциуш подумал, что было бы неплохо прерваться и поесть, но в восточном конце нефа им предстоял вечерний обход, как и накануне: кавалерист-австриец, офицер-венгр, снайпер-чех и так далее. Дело шло быстрее, потому что его уже ввели в суть дела. В середине первого ряда лежал солдат, австрийский драгун, над ним кружились мухи. Маргарета показала на них:

– Бог создал мух, чтобы мы знали, где гниль, доктор. – Она опустила на колени, чтобы осмотреть культю. – Вот, – сказала она, – начинается. Видите?

Люциуш кивнул.

– А теперь понюхайте.

Он слегка замешкался.

– Ближе, доктор, носом.

Он наклонился; от резкого запаха его едва не вывернуло. Они дотащили солдата до операционного стола, обнажили абсцесс, доходящий почти до подмышечной области, и ампутировали остаток руки. Час спустя они снова были в нефе. Грушчинский. Редлих. Черновицкий, кроткий, как ягненок. Потом – осмотр по отделениям: лихорадки, травмы головы, прочее.

Один раз Маргарета вдруг остановилась, ушла в другой конец церкви и вернулась с лопатой.

– Двигайся, – сказала она пациенту с перебинтованной головой. Он откатился в сторону, как на учениях, и она со всей силы ударила лопатой по его набитой соломой подушке. Потом потрясла ее, и оттуда, обескураженно вертясь, высунулись две маленькие розовые головки. Она снова ударила по подушке лопатой.

– Шчур, – сказала она, как будто нужно было пояснять. Крыса.

Жмудовский побежал за ведром. В отделении травм головы надо было осмотреть еще троих; после этого оставались только шестеро из умирающих – на два человека меньше, чем накануне.

Ночью Люциуш снова спал в шинели, слишком вымотанный, чтобы тревожиться. На заре раздался стук в дверь, и все началось сначала.

Дни ходили один на другой.

Кареты скорой помощи возникали из черноты ночи, из метелей, из сверкающих на солнце ледяных пустынь. В своей комнатке на дворе, в церкви во время обхода он слышал свисток или крик «Едут!» – и санитары бежали, чтобы помочь таскать носилки, а Маргарета, на морозе, в двух своих шинелях, направляла их в сторону карантинного отделения. Солдаты поступали с гор или из заснеженных окопов, прорытых в холмистых долинах; многие успели умереть от ран или от холода, другие плакали или с ужасом смотрели по сторонам, пока их раздевали,

дезинфицировали, пока комки замерзшей грязи и крови растворялись в воде, пока их конечности перетягивали жгутами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.